А. КРАСНОВ-ЛЕВИТИН

ДВА ПИСАТЕЛЯ

«ПОИСКИ»

А. КРАСНОВ-ЛЕВИТИН

ДВА ПИСАТЕЛЯ

«ПОИСКИ»
ПАРИЖ

Couverture N. Dronnikov

Editions «Poïski» 2, rue Henri Koch,
94000 Créteil, France

ПОД ЗНАКОМ СОЛЖЕНИЦЫНА

КЛАССИК

”Классик” – это обычный эпитет, применяемый в эмигрантской среде к Александру Исаевичу Солженицыну.

О нем много писали, еще больше говорили. И в общем не написали и не сказали ничего дельного. Или во всяком случае мало дельного. Объясняется это тем, что никто и никогда не писал о Солженицыне объективно. Все- что о нем написано – или панегирики, или проклятья.

Я знаком с ним с 1963 года. И никогда не принадлежал ни к его безоговорочным поклонникам, ни тем более к его врагам.

Наше знакомство началось с qui pro quo. Однажды Лидия Иосифовна, моя будущая жена, получает письмо из Рязани от одного знакомого:

”Многоуважаемая Лидия Иосифовна!

Вы хорошо знакомы с А.Л. Нужна его ”История обновленчества”. Не может ли он прислать ее мне?”

Я пожал плечами. Мало ли кому нужна ”История обновленчества”? Не могу же я всем ее посылать. Через некоторое время еще одно письмо:

"Один крупный человек очень хочет видеть А.Л. Не может ли он приехать?"

Мы стали соображать, кто этот крупный человек. Решили, что один игумен, который в ближайшее время должен был ехать на Афон. Верно, ему нужно, чтобы я что-нибудь ему написал. Кроме того, я никогда не был в Рязани. А моя страсть смотреть новые города. Я сказал: "Еду". И через несколько дней собрался. Меня встретил знакомый. Говорит: "Ну, так вот, этот человек Солженицын".

Я вытаращил глаза: "Откуда Вы его знаете?"

Оказывается, когда Солженицын был учителем, у него училась дочь моего приятеля. И между ними завязалось близкое знакомство.

Однажды Солженицын возвращается из Москвы и говорит моему приятелю: "Мне советовали прочесть ряд книг". Вынимает список. Среди названий рекомендованных книг заглавие: "История раскола", А.Л.

"А это мой хороший знакомый. "Истории раскола" у меня нет, а есть другая его книга – "Сборник статей". И он дал ему машинописный сборник "В борьбе за свет и правду".

Исаич прочел. Через неделю говорит: "А так это лагерник. Слушайте, я бы хотел с ним познакомиться". И результатом этого разговора было столь неожиданное приглашение. Мой приятель немедленно позвонил Александру Исаевичу. В 6 часов вечера он пришел. Тогда он еще не носил этой рыжей бороды, которую он отпустил уже позже, Бог знает зачем. (Она его дико уродует, хотя и придает ему некоторое характерное выражение). И я увидел перед

собой обыкновенного, очень типичного школьного учителя. Я начал разговор со слов: "Итак, мы с Вами вдвойне коллеги: учителя и лагерники".

"А Вы учитель? А что Вы преподавали?"

После обмена несколькими ничего не значившими репликами заговорили о самом главном.

Александр Исаевич начал разговор: "Сейчас я пользуюсь тем, что мне открыты все архивы (это было время его наибольшего фавора), и я хочу, наконец, разобраться, что же все-таки произошло в 1917 году. И особенно меня заинтересовало: почему у нас так быстро религия пошла на убыль? Недавно я был в Риге. Там я посетил различные церкви. Православные церкви, такие же, как здесь. Основная масса – старушки. В протестантских церквах 10-20 человек. Но вот вхожу я в католический храм (там три католические церкви рядом). Храм переполнен народом, и в основном молодежь, мужская и женская. Захожу в церковь рядом. Ну, думаю, здесь-то уж никого не будет. То же самое. Так и в третьей церкви. Советская власть существует там уже 18 лет. У нас через 18 лет – в 1935 году церковь была забыта. Не значит ли это, что православная церковь оказалась очень слабой?"

Я как раз в это время работал над темой, близко соприкасающейся с этим вопросом. Поэтому дал развернутый ответ. Говорил 40 минут. Слушал внимательно. Заключительная реплика:

"Благодарю Вас за сообщение. Вы привели множество фактов, но в целом Вы лишь подтвердили, что Православная церковь оказалась слаба. Почему? Это уже другой вопрос".

Далее начался разговор на нейтральные темы. Я сказал: "Я не собирался делать Вам комплименты. Но должен сказать, что, когда я прочел Вашего "Ивана Денисовича", у меня было такое впечатление, что я снова два часа пробыл в лагере. Такое же впечатление у всех моих друзей-лагерников".

"Да, – сказал он, – я получаю письма, в которых говорят: Вы описали наш лагерь. Всех, о ком Вы пишете, помню, но только Вас не помню. И номер лагеря – номер не тот".

Затем он рассказал о забавном письме, в котором корреспондент ругает писателя и его героя. "Так ли уж невинен Иван Денисович? Такие Иваны Денисовичи первыми поднимали руки перед немцами. И сейчас он не так уже невинен. Вот он пронес в лагерь ножичек так же хитро и осторожно, как протащил в советскую литературу свой рассказ Солженицын." В заключение письма говорится: "Я своего имени не называю, потому что таких, как я, легион".

Засмеялись (как известно, "имя нам легион" – ответ бесов Спасителю).

И наконец, последнее. Как раз в это время в газетах появилось сообщение о выдвижении на Ленинскую премию кандидатуры Солженицына. Александр Исаевич сказал: "Будет слишком большое противодействие".

В скобках сказать, я отнюдь не заметил у проповедника ригористического принципа "Жить не по лжи" никакого намерения от премии (если она будет присуждена) отказаться, хотя она дается "за выдающиеся заслуги в области социалистического

реализма" – метода, которого никто, конечно, не принимает всерьез. И в память ненавидимого Исаичем человека.

Никто его, разумеется, не осудит. Но и других не надо осуждать и давать невыполнимые советы, не читать советских газет, не ходить на собрания и т.д.

Странный принцип: советских газет, живя в Советском Союзе, читать нельзя, а получать стотысячные премии за успехи в советской литературе можно.

После этой встречи я видел один раз Александра Исаевича в том же доме мельком. И наконец, имел с ним долгий разговор о Буковском, который приводил в другой книге.

За границей я его видел довольно часто – в нашей церкви в Цюрихе, где он иногда появлялся.

Но творчество большого писателя приковывает к себе внимание. И, говоря о нашей эпохе, нельзя не говорить о Солженицыне, так же как, говоря о восемнадцатом веке, нельзя не говорить о Бальзаке, говоря о крепостном праве, не говорить о Радищеве, Тургеневе, Салтыкове-Щедрине.

Итак, начинаем разговор о классике. И разговор с классиком.

"ДОЛГО ТЕРПИШЬ, ДА БОЛЬНО БЬЕШЬ"

Я помню, в 1955 году, когда все мы были уже на выходе, неожиданно к нам в лагерь под Куйбышевым посадили местного горкомовца. Роль его и до сих пор мне не совсем понятна. Сидел он там

якобы по 58-й, жил в нашем бараке. Начальство к нему было благосклонно. Когда в январе 1956 года 58-ую статью отделили от остальных и угнали в Башкирию, неожиданно на вахте его отозвали. Остался. Тип препоганый. Склочный. Какой-то весь взвинченный. Нервный. Как-то задрался с дневальным, боевым стариком из владимирских. Тот на него кричал: "У тебя на руках детская кровь". А он в ответ крыл его таким матом, что любого блатного перещеголяет.

Раз как-то прохаживался с ним по трапу. Говорил со мной на религиозные темы. Поразил сразу полным и законченным цинизмом. "Вот сколько людей погибло. И многие за веру. И ничего. Даже и книжку никто не напишет". Я сказал: "Напишут".

А и написали. Такой книжкой является "Один день Ивана Денисовича".

О своем впечатлении об этой книжке я уже говорил. Сначала не замечаешь отдельных людей, не различаешь образов так же, как сначала, когда попадешь в лагерь. Попадаешь в едкую, прокуренную, наполненную паром от человеческих тел атмосферу лагерного барака. Чувствуешь запах пота, видишь на этажных нарах лагерные рожи, слышишь лагерный мат. Образы как-то не остаются. Все сливается в одно большое серое пятно. Но вот глаз привыкает. Перечитываешь во второй раз. И постепенно возникают в этом сером месиве образы. Человеческие лица. Человеческие чувства. Человеческие живые души.

Это прежде всего сам Иван Денисович. Русский человек. Прежде всего абсолютная естественность. Никакой позы. Он не только не рисуется, но

для него вообще непонятно, как можно что-то на себя напяливать, что-то о себе воображать.

Второе – умение никогда не унывать, не падать духом.

У Гончарова в "Обрыве" есть великолепная тирада о женщинах, русских женщинах. Тут и Марфа-посадница, тут и жены декабристов. А кончает он эту тираду образом простой русской женщины – погорелицы, как спокойно идет она во главе своей многочисленной семьи, навьюченная скарбом, неизвестно куда и неизвестно к кому, подбадривая детей, подгоняя занюнившего мужа ударом ноги, – идет, не унывающая, строгая, идет строить все заново.

А у Тютчева есть великолепная строчка в стихотворении о преждевременно умершей Денисьевой:

"О ней, о ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить"

К счастью, таковы не только женщины. Открываем теперь "Один день Ивана Денисовича". Лагерная столовка. Ужин. Старик.

"Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончилась, так ему сразу новую совали. Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Из всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что-то подложил. На голове его голой стричь давно было нечего – волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика все юрили вслед всему,

что делалось в столовой; и поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложку ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам большим, в трещинах и в черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем — не примириться: трехсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в расплесках, а на тряпочку стиранную".

(Ал. Солженицын, "Собрание сочинений", том первый, "Один день Ивана Денисовича", "Посев", 1970, стр. 112-113).

Кто он, не сдавшийся? По замыслу Солженицына, который не мог быть раскрыт в подцензурной печати, видимо, белый офицер (я знавал таких в лагере). А может быть, эсер? (таких я тоже знал). А может быть, старый интеллигент, не попавший за строптивость и чувство собственного достоинства в скользкую среду придурков?

Хрущев это читал. Интересно, заметил ли? Скорее всего, нет. Его, вероятно, интересовало в повести только то, что можно было бросить на политические весы, на ту чашку, которая может служить его непосредственным целям. А жаль! Ему и его коллегам полезно было бы знать, что существуют те, которых не поставишь на колени. "Не сдавшийся" и кавторанг. У него есть подлинный прототип.

Когда Солженицын был в фаворе, он, будучи реабилитирован, командовал кораблем. Принял старого друга с почетом. На корабле. Как почетного гостя. Чуть ли не выставил для него почетный караул, – и попало же ему, должно быть, после снятия Хрущева за эту встречу.

Нарисован великолепно. Броско. Отчетливо. Работает. Увлеченно. Рассказывает о своей встрече с английским адмиралом. Естественно и просто. Без хвастовства. Спорит с чекистским дегенератом-самодуром. Попадает за это в страшный лагерный изолятор. Великолепный человеческий тип.

И опять невольно вспоминается девятнадцатый век.

У Некрасова сказано про Савелия, богатыря святорусского, что его сила "под палками, под розгами, по мелочам ушла".

У кавторанга также его сила уходит по мелочам: в спорах с надзирателями, по изоляторам, по тюрьмам.

И все-таки радостно сознавать, что есть еще в русском народе богатыри-кавторанги. И быть может, не всегда их сила будет уходить по мелочам. Еще выправятся они во весь свой богатырский рост. И гаркнут на надзирателей: "Не имеете права!"

А про сопливых, робких интеллигентиков, трусливых болтунов вымолвят, как у Солженицына:

"Бригадир, – кричит кавторанг, – поставь меня с человеком! Не буду я с этим г... носить!" (Там же, стр. 75).

И рядом баптист Алеша. Чудесный парень.

Глубоко верующий, не расстающийся с Евангелием. Во всем полагающийся на Бога. И все-таки хочется с ним спорить. Спорить до хрипоты. Он во всем уповает на Бога, он непрестанно молится. Он твердо верит, что Бог всех спасет и все устроит. И раз уж мы решили "трепать лавры" великих стариков, то про его мировоззрение можно сказать словами Жуковского:

"Мой друг! Доверенность к Творцу
Рукою Высшею Незримый
Ведет нас к лучшему концу
Стезей непостижимой".

Но невольно возникает вопрос: "А человек? Что будет в это время делать человек? Молиться и читать Евангелие?" Но Евангелие, Алеша, говорит не о том. Разве не помнишь ты притчу о талантах? Остерегайся уподобиться ленивому рабу, который лишь берег полученное сокровище, а сам ничего не делал. Помни и остерегайся! Господь зовет нас к действенной и решительной борьбе со злом, к творчеству. И только в этом случае обещает нам помощь.

И наконец, простые люди. Масса. Здесь мы возвращаемся к Ивану Денисовичу. На первый взгляд, полная опустошенность, но так только на первый взгляд. Вот он в лагерной столовой:

"Там, за столом, еще ложку не окунувши, парень молодой крестится. Значит, украинец западный, а то новичок. А русские — и какой рукой креститься, забыли" (стр. 14).

А через три абзаца, на той же странице:

"Потом Шухов снял шапку с бритой головы — как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке".

Стало быть, не все забыл. Кое-что осталось от деревни, от предков, от старой хорошей русской деревни. И здесь начинается наш спор с корреспондентом Солженицына, которому имя "легион". Сдавались ли такие, как Иван Денисович, первыми немецким фашистам? Вряд ли. Кагебистам он не сдался. Что мешало ему стать стукачом? Обеспечено место бригадира. А значит, лишняя пайка. Обеспечено место дневального. В бараке. (Понукай работяг идти на проверку, – а работа в тепле, в покое – мой пол, заправляй койки – блатная работенка). А может быть, и дневальным в столовой. Тут и вовсе. Открывай и закрывай двери. Но вот не приходит это ему даже в голову. Не идет Иван Денисович в стукачи. И немцам бы не сдался, а упорно, тихо и смиренно делал бы свое дело. Ну, а когда сдался весь корпус – что ты тут будешь делать? И в немецком лагере ни на кого не доносил, у немцев холуем не был – иначе бы 10 годами не отделался. Схватил бы на всю катушку – четвертак. Иван Денисович в общем хороший товарищ. Положиться на него можно. Не подведет. И стукачом не станет.

И наконец, изумительная страница. Работа.

"Переглянулись Шухов с Кильгасом. Верно. Так скорей. И схватились за топоры. И не видел больше Шухов ни озора дальнего, где солнце блеснило по снегу, ни как по зоне разбредались из обогревалок работяги, – кто ямки долбать с утра недодолбанные, кто арматуру крепить, кто стропила поднимать из мастерских. Шухов видел только стену свою – от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходи-

лась его стена и Кильгасова. Он указал Сеньке, где тому снимать лед, и сам ретиво рубил его то обухом, то лезвием, так что брызги льда разлетались вокруг и в морду тоже, работу он правил лихо, но вовсе не думал. А думка его и глаза вычуивали изподо льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока" (стр. 71).

Когда я был лагерником, каюсь, всегда меня поражало, что заставляло людей, простых людей, работать с необыкновенным увлечением; я бы сказал, с вдохновением – точно на себя, – в лагере, начальнику. У пильщиков леса была присказка: "мне, тебе и начальнику".

Не понимал. Кажется, теперь кое-что понял.

Недавно сказал мне в Цюрихе один западник, беглец из Польши, в общем неплохой парень, канцелярист: "Откровенно говоря, не понимаю, что заставляет Вас тратить силы и деньги для писания книг. Подумаешь, пятьсот экземпляров купят".

Мой западник не понимал одно: нет писания книг – нет жизни. Для меня сейчас не писать – все равно, что не дышать. А для Ивана Денисовича не работать – не дышать. Для него работа – поэма, дыхание, жизнь.

В повести Солженицына два плана. Первый план (его заметит сразу поверхностный читатель) – лагерь. Как сказала мне одна московская дама: "Бездумье, серость, ужас".

И второй план – другой. Внутренний мир. Те, которые сохранили свою душу и в лагере.

Бригадир. О нем одна лишь реплика: "Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофье-

вич" (стр. 66). Много он видел в жизни, много утрат перенес, но и смутное ощущение справедливости, правды сохранилось.

"Между прочим, в тридцать восьмом на Котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему десятку сунули. Так узнал от него: и тот комполка, и комиссар – обоя расстреляны в тридцать седьмом. (Те, кто были причиной всех его несчастий)... Перекрестился и говорю: Все ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь" (стр. 66-67).

И рядом интеллигенты. И в лагере сохранили интеллект, живой интерес к искусству, к абстрактным вопросам, к тому, что происходит на воле.

И под покровом ночи – свет, и в ледяной пустыне – тепло.

"В рабстве спасенное сердце свободное.

Золото, золото, сердце народное".

И конец:

"Засыпал Шухов, вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось много удач: в карцер не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый день" (стр. 132-133).

Спи, работяга!

Стемнело, кончился зимний тяжелый день. Но пройдет ночь. Настанет снова день. Воссияет солнце. А там и настоящий день.

"Бог долго терпит, да больно бьет".

СТАНЦИЯ КРЕЧЕТОВКА

И другой рассказ, гораздо менее известный, чем "Один день Ивана Денисовича" – "Случай на станции Кречетовка". Между тем, рассказ полный глубокого значения, быть может, гораздо более глубокого значения, чем "Один день Ивана Денисовича".

Когда эмигранты пишут о советских нравах, о Советском Союзе, у них всегда непосредственно или в подтексте мысль, что советская власть, сталинщина – это что-то внешнее, навеянное, наваждение, дунь – рассыплется и исчезнет.

И сам А.И. Солженицын в своих эмигрантских выступлениях стоит на этой точке зрения. Особенно наивны его попытки объяснить Октябрьскую революцию: рабочие были против Советской власти, крестьяне тоже, интеллигенция – говорить нечего. Все сделали большевики. Но большевиков в феврале 1917 года было раз-два и обчелся. Значит, и не большевики. Выходит, что один Ленин. Ленин в изображении Солженицына приобретает характер уже совершенно сверхъестественного существа. Шутка сказать – он один и никого рядом. Уж как восхваляют Ленина советские панегиристы, но даже они ему не приписывают такого сверхчеловеческого могущества.

Правда, в его эскизе "Ленин в Цюрихе" появляется еще один персонаж Парвус. Оказывается, это он инициатор Октября. В нем-то все и дело. Но опять ребус: если он такой "вумный", так почему

же не он поехал в Россию и не он сделал Октябрьскую революцию? Да и сама революция – откуда?

Между тем, ответ на этот вопрос дает рассказ "Случай на станции Кречетовка". Прочитайте этот рассказ, – и ничего спрашивать больше не надо. Все ясно. И сам Солженицын, верно, не понял, что этим рассказом он ответил на вопрос о том, что произошло в 1917 году, в гораздо большей степени, чем всем своим сложным, надуманным и никак не вытанцовывающимся "Красным колесом".

1. Итак, кто сделал Октябрьскую революцию? Герой рассказа "Случай на станции Кречетовка" Вася Зотов.

2. Итак, благодаря чему советская власть продержалась в гражданскую войну? Благодаря Васе Зотову.

3. На кого опирался Сталин в 30-е годы, в годы бандитского колхозного переворота, в годы ежовщины? На Васю Зотова.

4. Благодаря кому Советский Союз выиграл Отечественную войну? Благодаря Васе Зотову.

5. Благодаря кому Сталину удалось захватить пол-Европы, проводить свою бандитскую послевоенную политику? Благодаря Васе Зотову.

6. И сейчас Васи Зотовы дерутся и гибнут в Афганистане, оккупируют Чехословакию, Венгрию, пол-Европы.

7. Благодаря еому в конечном итоге падет советская тирания? Благодаря прозревшим Васям Зотовым.

В этой небольшой повести Солженицыну удалось создать образ огромной обобщающей силы,

образ, не замеченный и не оцененный современниками. Не замеченный и не оцененный им самим.

Первая половина рассказа. Станция Кречетовка. Одна из бесчисленных станций в центре России. На станции обычная в СССР во время войны (и не только во время войны) бестолочь. Девушки, бабки, старички, мужички.

У Толстого в "Войне и мире" есть знаменательные строки:

"... в действительности те личные интересы настоящего до такой степени значительнее общих интересов, что из-за них никогда не чувствуется (вовсе не заметен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращала никакого внимания на общий ход дел, а руководствовалась только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени.

Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели все навыворот, и все, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором..."

(Л.Н. Толстой, "Война и мир", том IV, ч. I, гл. IV, стр. 18. Собрание сочинений, том VII, М., "Художественная литература", 1974).

Так и у Солженыцина. Все заняты своими личными делами, все хлопочут о том, чтобы уцелеть, чтобы выжить.

"... окружающие жили как будто еще чем-то другим, кроме новостей с фронта, – вот они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали

стекла. И по временам они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте.

– Глупая баба! Привезла угля – и теперь ничего не боится. Даже танков Гудериана". (А. Солженицын, "Случай на станции Кречетовка", стр. 141).

Последние слова принадлежат Зотову.

Глупый парень! Эта баба много умнее и полезнее, чем ты. Благодаря ей жизнь не прерывается, носит относительно нормальный характер; если бы не она и не ей подобные, жизнь прервалась бы, превратилась бы в хаос. Только благодаря усилиям этих нормальных, обычных людей, как и в 1812 году, Россия живет, имеет крепкий тыл, обороняется и воюет.

Лейтенант Зотов со своими рассуждениями и своей декламацией о верности родине вполне бесполезен. Эти люди несут на себе всю тяжесть войны, а Зотов со своим нелепым аскетизмом умеет только причитать:

"Наши села в огне и в дыму города...
И сверлит, и сверлит в исступленье
Мысль одна: да когда же, когда же? когда
Остановим мы их наступленье?"

(Там же, стр. 140).

И в нравственном отношении. Глупая баба и пожалеет голодного, и накормит, и поможет, чем может, а героический лейтенант, исходящий из доктринальных побуждений, предает несчастного человека на смерть.

Так на первый взгляд. Но только на первый взгляд. Есть и другой план. Если Зотовы вполне бес-

полезны во время войны, то этого никак нельзя сказать о революции. Недавно моя крестница Юлия Вишневская осчастливила меня следующим афоризмом: ”Революция сделана плохими поэтами”. Я ее за это обругал. Но доля истины в этом есть.

Революция невозможна без романтики. Поэтому в дни революционных потрясений именно Зотовы играют первостепенную роль. Лично чистые и бескорыстные, они придают революции романтический ореол, возбуждают уважение, импонируют массам, в первую очередь молодежи. Именно они свято верят в идеалы, идут на смерть за свои убеждения. И в то же время из них же выходят изуверы, инквизиторы. Представьте себе Зотова в 1918 году, сделайте его старше на 20 лет. Это будет Дзержинский – человек лично бескорыстный, ”рыцарь революции”, по словам Сталина, рыцарь жандармерии на самом деле. Переоденьте его в женское платье и придайте ему еврейское происхождение – это будет Фаня Каплан. Эти люди, будучи троцкистами, десятками тысяч гибли в лагерях во время ежовщины. И эти же люди, будучи сторонниками Сталина, морили миллионы в лагерях.

Я отнюдь не являюсь противником фанатизма. Фанатики – смертники, если производить это слово с греческого; ”исступленные”, если производить это слово с латыни – двигают мир. Фанатики – это дрожжи человечества. Смотря по тому, на что направлен их фанатизм, они могут быть злодеями, воплощенными демонами, и могут быть героями, благодетелями человечества.

И еще одна тема в Кречетовке – тема русской

интеллигенции. Неожиданно входит в рассказ чеховский Вершинин. Актер, игравший Вершинина, но и сам он чеховский интеллигент. Ужасна участь русской чудесной интеллигенции – мечтатели, садовники ”прекрасного сада”, прекраснодушные и оторванные от жизни, – они оказались жертвами тупых фанатиков, примитивных людей типа Зотова, и в то же время оторванными от народа, от людей, занятых практическими делами.

”Случай на станции Кречетовка” – мало замеченный читателем рассказ необыкновенной обобщающей силы. Он является поистине классическим выражением русской жизни, состоящей из трех элементов: романтики-доктринеры, наивные и ограниченные, готовые идти, куда угодно и за кем угодно, лишь бы приказы были сдобрены декламацией, обанкротившиеся интеллигенты, оторванные от жизни, и народ, занятый практическими делами, мало интересующийся теориями и в конечном счете держащий Россию.

МАТРЕНИН ДВОР

И гениальный ”Матренин двор”.

По моему глубокому убеждению, это лучшее, что есть у Солженицына.

”Иван Денисович” – это в основном сенсация. Я нисколько не умаляю огромной талантливости повести, но все же успех ”Ивана Денисовича” – это в значительной степени успех скандала. Не было бы XX съезда, разоблачения бандитского культа, не бы-

ло бы такого грандиозного, исторического успеха повести. "Кречетовка" – великолепная зарисовка, но она была уже сравнительно мало замечена. "Матренин двор" – это не рассказ, не повесть, – это поэма. Поэма о русской деревне, о русской жизни, о русской природе.

Автор отнюдь не народник (в плохом смысле этого слова). Он вовсе не идеализирует народ. Много в деревне жмотов, кулачков, хамов. Законченный хам – Фаддей. Человек корыстный, жадный до денег, мстительный. Да и брат его Ефим не лучше – тоже хам. Пьянчужка, бабник и эгоист.

И сестры Матрены – поганые бабы, озабоченные скарбом. И на этом фоне три женских образа: сама Матрена, другая Матрена, вышедшая замуж за Фаддея, – вечная страдалица, и воспитанница Матрены Кира из Черустей – хорошая, сердечная молодая бабенка.

Что поражает в "Матренином дворе"? Прежде всего вовсе не свойственная Солженицыну в других его произведениях тонкость красок, обилие оттенков. То, что ставит этот рассказ в уровень с лучшими произведениями русской классики. Матрена. Невежественная, нечистоплотная. Жизнь прожила в грязной избе. В тараканах. В меру религиозная. Но с сильной примесью язычества: все сводится к обрядам, к "свяченой" воде, к почитанию икон. Работница из работниц (говоря по-лагерному – работяга). Оживляется только тогда, когда есть работа.

Единственная поэзия в ее серой, поганой жизни – фикусы, котор[illegible] с незапамятных времен есть

в доме. С давних пор. Которые она лелеет, которые она первыми спасает от пожара.

Привязчивая. Искренно полюбила Игнатьевича, беспокоится о нем, ухаживает за ним, хотя толку от него (как от жильца) чуть. Сдержанная. Безропотная.

И вдруг прорывается у нее лирика. Рассказ ее Игнатьевичу о жизни – поэма. Как любила она своего первого – Фаддея, и нехотя вышла за его брата Игната. Народная речь передана Солженицыным великолепно. Без навязчивой стилизации. Без надоедливых повторений одного и того же выражения. Речь скупая, сдержанная, только лишь угадывается в ней лиризм (где-то на донышке, чуть-чуть).

И самое главное – доброта.

И опять вспоминается изречение Тертулиана: "Душа по природе христианка". Особенно душа русского человека, русской бабы.

Когда-то Белинский (в своем известном письме Гоголю) говорил, что в русском мужике нет пиетизма; он про иконы говорит: "Годится помолиться, а нет – так горшки покрывать", а имя Божие произносит, почесывая себе место пониже поясницы.

Правильно. Когда-то Троцкий говорил, что православная церковь не сумела донести своих догматов до русского мужика.

И это правильно! Но правильно и другое, что в русском человеке (особенно в женщинах) столько доброты, столько сердечности, столько искренности, – как говорят в народе, простоты.

И сумел разглядеть это все Солженицын в Матрене. Простой русской женщине.

Сколько знал я в своей сумасшедшей и нелегкой жизни Матрен! С детства и до самого выезда из России. И жена моя – настоящая русская женщина – Матрена, Матрена до глубины души.

Солженицын оканчивает рассказ:

"Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша" (стр. 231).

Вспоминаются и другие слова. Слова Тургенева про русский язык: "Не может быть, чтобы такой язык не был дан великому народу".

Не может быть, чтобы народ, где столько Матрен, не был великим христианским народом.

Я отнюдь не принадлежу, как я указывал выше, к безоговорочным поклонникам Солженицына. Его творчество очень неравноценно, и далеко не все, написанное им, приводит меня в восхищение. А публицистика Солженицына вызывает порой и негодование. В его статьях нет ни одной строчки, которую я мог бы принять. Но он написал "Матренин двор". Одного этого достаточно, чтобы быть великим писателем Земли Русской.

1964 ГОД

И наступил 1964 год. Последний год хрущевского правления. Ополоумевший от власти диктатор опьянел от восхвалений. И с ним случилось то,

что, по словам Толстого, случилось с Наполеоном: он решил, "что не то хорошо, что само по себе хорошо, а то хорошо, что он, Наполеон, делает".

Ну и пусть бы Наполеон, а тут – Хрущев.

И последний год его правления ознаменовался диким разрушением церквей, массовым грабежом крестьян (приусадебные участки – последнюю рубашку, последние портки – забирать стали); опять в литературе захлопнулись форточки, замазались щелки – и все это сопровождалось потоком шутовских речей, фонтаном административного красноречия и тирадами подхалимов.

У Солженицына пауза. И лишь появляются два рассказа: "Для пользы дела" и "Захар-Калита". Оба рассказа, как говорят в таких случаях актеры, – проходные, так себе. И все же талант пробивается и здесь. Большой талант.

В рассказе "Для пользы дела" великолепный фон. От позднего Солженицына этот рассказ отличается тем, что в изображении всего советского не одна лишь черная краска.

Ребята из техникума, учителя и администраторы: дитектор техникума с секретарем горкома – старые фронтовики. Люди ограниченные, но в общем неплохие, благожелательные, болеющие за интересы дела.

И несколько интересных зарисовок.

Новый учитель – инженер, пришедший в техникум. Его рассказ: "Я почему к ним присматриваюсь с некоторой робостью, – я привык со взрослыми. Один раз в школу, где сынишка учится, пошел прочесть лекцию "Достижения науки и техники", –

так перед сыном со стыда сгорел: не слушают меня, и все, что хочешь, то и делай. И завуч по столу стучал, и его не слушают. Потом, правда, сын мне объяснил: раздевалку заперли и никого не пускали домой. У нас, говорит, часто так, когда какая-нибудь делегация приедет или мероприятие. Ребята и разговаривают" ("Для пользы дела", том I, стр. 238).

И далее. Разговор молодой учительницы Лидии Георгиевны с учениками.

"А вот, в книжный магазин пойдите, – сказал сутулый мальчик. – На витринах сколько этих романов желтеет, полки все ими забиты. Через год придешь – стоят на том же месте". (Там же, стр. 245). И дальше мещанская рацея мальчишки Аникина о том, что книги надо писать покороче – читать некогда. Речи особенно поганые в устах молодежи, но увы! правдоподобные донельзя. Отчего это?

В повести приоткрываются щелочки. Там наверху секретарь обкома Виктор Вавилович Кнорозов. Бездушный, вельможный бюрократ. Он хозяин области, он хозяин техникума, увы! он хозяин литетатуры. И ясно: пока он сидит в своем кабинете, все речи будут подсказаны им, все книги будут апробированы им. От всего пахнет Кнорозовым. И только Кнорозовым. Что за интерес слушать речи, составленные по шпаргалкам Кнорозовых, что за интерес читать книги, апробированные Кнорозовыми, что за интерес читать статьи, которые пишутся по заданиям Кнорозовых. И не слушают, и не читают, и не думают. И понемногу отучаются слушать, читать, думать.

Одно из самых страшных явлений русской жизни – явлений, к сожалению, всегда присущих

переходным эпохам, – мещанство. Мещанство, которое присуще не только старикам, но захлестывает и молодежь.

Что надо сделать, чтобы взбаламутить сонное мещанское море, чтобы русский народ (и в первую очередь молодежь) охватил порыв, искание, поиски смысла жизни? Надо прогнать Кнорозовых из их кабинетов. Нужно снять, разрушить плотины, сковывающие мысль. Нужна новая революция. Нужен новый февраль. Тот самый февраль, которого боится Солженицын, которого он не хочет, против которого он предостерегает. И который приближается. Неуклонно, неостановимо. И никаким консерваторам советским и несоветским его не остановить.

И ”Захар-Калита”.

На Куликовом поле. Старая разоренная церковь. Старый чудак. Заброшенность и пустота.

Первое ощущение: ”Боже мой! Как грустна наша Россия!” Но и другие слова: ”Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Ты же иди и проповедуй Царствие Божие”.

На поле Куликовом пустота.

”О поле! Поле!

Кто тебя усеял мертвыми костями?”

А в далекой больнице в Средней Азии среди приговоренных к смерти –жизнь. И какая жизнь!

”Раковый корпус” – одно из самых гениальных произведений не только русской, но и мировой литературы.

СВЯТАЯ МЕЖА

Но между повестями и "Раковым корпусом" межа. Святая межа. Она отделяет все раньше написанное от нового лета. От последующих двух великих романов. Это крохотки. Крохотные рассказы. Но и этих крохоток было бы достаточно, чтобы быть великим писателем. Чудесные крохотки.

* * *

Среди них небольшой этюд о Есенине. И во всех этих крохотках – есенинский дух. Веет Есениным. Нигде, ни в одной статье не раскрыт в такой степени дух Есенина, как в небольшом рассказике "На родине Есенина".

"В избе Есениных – убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнатой не назовешь ни одну. В огороде – слепой сарайчик да банька стояли прежде, сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами – обыкновенное польце.

Я иду по деревне этой, каких много и много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, – и волнуюсь: небесный огонь опалил однажды эту окрестность. И еще сегодня обжигает он мне щеки здесь. Я выхожу на окский кругозор, смотрю вдаль и дивлюсь: неужели об этой далекой темной полоске хворостового леса можно было так загадочно сказать: "На бору со звоном плачут глухари...", и об этих луговых петлях

спокойной Оки: ”Скирды солнца в водах лонных...”?

Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько материала для красоты – у печи, в хлеву, на гумне, за околицей – красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают”. (А. Солженицын, ”Собрание сочинений”, т. V, стр. 228, ”Посев”, Франкфурт-на-Майне, 1969 г.).

Это место знаменательное во всех отношениях. Специфика Сложеницына – ничего не идеализировать. Деревня бедная и грязная, и люди подстать – мелкие и эгоистичные. И, как в ”Матренином дворе” – чудо: там золотой слиток доброты, здесь зо лотой слиток таланта.

А.И. Солженицын нашел удивительно точное определение таланта. Ибо талант – искусство видения. Все видят великосветское общество, и вдруг приходит отставной офицер – бородатый графчик – и видит в нем потрясающую трагедию и создает образ Анны, который будет жить века.

Кому не известны петербургские трущобы, прозаические и вонючие, – и вдруг приходит сюда петербургский чудаковатый парень и видит здесь ”Белые ночи”, студента Раскольникова, – то, что будет жить века и века.

Так и Есенин разглядел в русской деревне несказанную красоту. И наряду с ним тоже чудаковатый мужик с рыжей бородой, с шрамом через лоб, с каким-то странным, неподвижным взором. Пришел и увидел то, что все видели и никто не приметил.

В лагере – хороших русских людей, сохранивших душу живу, а в избе с грязью и тараканами – красоту неизъяснимую.

И если бы увидели его яснополянский граф, петербургский эпилептик и драчливый рязанский парень, сказали бы, как в житиях святых при чудесных явлениях: "Этот нашего рода!"

В других "крохотках" – резкое обличение пошлости советской жизни. Мне эта тема особенно близка, ибо с детства меня всегда томил невыносимый прозаизм советской жизни: из жизни изгнана романтика, все заменено казенными фразами, в которые решительно никто не верит. Все сводится, по существу, к жратве и выпивке.

Если взять среднего советского человека, то его горизонт и психика не шире героев купринского "Поединка". "Молодечество" и грубая эротика, скука и водка, водка, водка. При этом несколько газетных фраз, которые придают некоторый идеологический антураж всей этой мещанской тухлятине. Не то беда, что такие люди есть, – есть они повсюду. Беда в том, что эта пошлость, официально насаждаемая сверху; это образ советского человека, каким его хотели бы видеть в Кремле. И сами кремлевские старцы – начиная с Хрущева и кончая Брежневым и Сусловым – недалеко ушли от этих людей. Такими же неизбывными мещанами являются и "инженеры человеческих душ" – официальные жрецы "марксизма-ленинизма", советские попы, как их называют в народе.

В этом, между прочим, значение Александра Зиновьева, показавшего нам всю гнилось мирка

"диаматчиков". Но недалеко от них и писатели (из деятелей Союза Советских Писателей), и актеры, и художники.

Александр Исаевич Солженицын нашел очень яркие краски, чтобы показать пошлость советского человека. Его внутреннюю опустошенность. Его цинизм и безверие. Даже на кладбище, даже перед лицом смерти – все та же неизбывная пошлость;

"Владельцы могил! Во избежание штрафа убрать прошлогодний мусор!" "Смена крестов и оград только с письменного разрешения бюро!" (стр. 233)

И на Оке:

"И всегда люди были корыстны и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом.

Напоминал он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час, отдать мысль вечности. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того, чтобы опуститься на четыре ноги. В эти камни, в колоколенки эти наши предки вложили все свое лучшее, все свое понимание жизни.

"Ковыряй, Витька, долбай, не жалей,
Кино будет в шесть, кино будет в восемь".

(Стр. 234)

И на Пасху к церкви пришло советское мещанство, советское хулиганье. Около церкви в Переделкино. Перед заутреней. На Пасху.

"А парни здоровые и плюгавые – все с победительным выражением (кого они победили за свои пятнадцать-двадцать лет? – разве что шайбами в ворота), все почти в кепках (кто с головой непокры-

той, так не тут снял), каждый четвертый выпивши, каждый десятый пьян, каждый второй курит, да и противно так курит, прилепивши папиросу к нижней губе. И еще до ладана, вместо ладана, сизые клубы табачного дыма возносятся в электрическом свете церковного двора к пасхальному небу в бурых неподвижных тучах.

Плюют на асфалььы, в забаву толкают друг друга, громко свистят, есть и матюгаются, несколько с транзисторными приемниками наяривают танцевалку, кто своих марух обнимает на самом проходе, и друг от друга этих девок тянут и петушисто посматривают, и жди, как бы не выхватили ножи: сперва друг на друга ножи, а там и на православных" (там же, "Пасхальный крестный ход", стр. 235-236).

Многие поклонники Солженицына сравнивали его с Л.Н. Толстым. Я бы сравнил его с Гоголем. В частности, приведенные строки написаны гоголевским пером. Подобно гоголевским строкам, они необыкновенно ясно показывают "пошлость пошлого человека".

И так всюду: пошлость, жестокость и сквозь них красота и лиризм... Жестокость и пошлость и "незримые слезы". Как мы увидим ниже, это не единственное, в чем Солженицын похож на Гоголя.

РАКОВЫЙ КОРПУС

И вот второй период в жизни Солженицына. Период романов и пьес. Золотой период! Потому

что был еще и третий. Не золотой. Надеюсь, будет и четвертый. Опять золотой.

* * *

В феврале 1976 года со мной случилось несчастье: попал под автомобиль. Наступила ночь. Не приходил в сознание месяц. В один из просветов (помню!) ко мне наклонилась женщина. Местная. Швейцарка. Хорошая, добрая женщина. Помогала мне, изгнаннику. Спросила: "Узнаете ли меня?" Я ответил: "Смутно". – "Что хотели бы Вы сказать?" – Я: "Во-первых, сообщите моей жене в Москву. Во-вторых, хочу причаститься. И в-третьих (вспомнил, что перед смертью надо просить прощения у тех, перед кем виноват. Но перед кем? Те, перед кем больше всего виноват, – перед бабушкой и другими близкими, уже умерли). Неожиданно я сказал: "Пусть простит меня Солженицын. Я ему завидовал".

И вновь погрузился во тьму. Слова эти были сказаны бессознательно. Есть люди, перед которыми виноват во много раз больше. Завидовал? Но чему? И сейчас, перечитывая, понял: "Раковый корпус". Здесь завидовать можно. Это переживет века. Этим произведением он поднялся куда-то туда, куда нет дороги современникам.

"Раковый корпус" – это вершина творчества Солженицына, вершина всей нашей эпохи. "Раковый корпус" и стихи Пастернака, быть может, "Реквием" Ахматовой.

Все!

И вот мы входим вместе с Солженицыным в

помещение Ташкентской городской больницы. Знаю эту больницу. Лежал в ней весной 1945 года. Правда, всего несколько дней. Мрачное, запущенное здание. В палатах невылазная грязь. Но окружена чудесным парком. Остаток тех времен, когда здесь была земская больница.

И входит в эту больницу Павел Николаевич Русанов – вельможный советский помпадур.

В советской литературе Русанов имеет только одного предшественника – Дроздова из "Не хлебом единым" Дудинцева.

Но, разумеется, схематичный, слабо очерченный Дроздов относится к Русанову так же, как небольшое, хотя и острое дарование бывшего провинциального прокурора к могучему таланту старого лагерника. Это старый знакомый: самодовольный, самоуверенный и ограниченный советский бюрократ, твердо уверенный в своей миссии, особом избранничестве, которое дает ему партбилет. Он свято верит в незыблемость партийных истин не потому, что он фанатик (он вовсе не фанатик: от любой опасности он убежит за тридевять земель и сейчас от участия в войне сумел отгородиться), а, во-первых, потому, что эти "истины" дают ему привилегии, а затем по лени мышления; зачем ломать голову над чем-то и зачем-то, когда "истина открыта четырьмя гениями и хранится в политбюро".

"Какая все-таки доходная вещь христианство", – воскликнул один из неверующих пап эпохи Возрождения, наблюдая из окна толпы паломников, идущих в Рим.

"Какая все-таки доходная и удобная вещь

официальная советская идеология" ("марксизм-ленинизм"), – мог бы воскликнуть Русанов, проезжая по Ташкенту в автомобиле в свою прекрасную отдельную квартиру.

И весь мир для Русанова – отдельная прекрасная квартира, великолепно меблированная, в которой все (каждый гвоздик, каждая деталь) на своем месте.

Но вот наступило нечто новое, страшное, небывалое, от которого все привычное, удобное, раз навсегда рассчитанное обрывается раз и навсегда. Прорывается, как паутина, как бумага, как марля. И проступает жизнь такая, как она есть.

Это всамделишное – смертельная болезнь; это всамделишное – смерть.

Федор Сологуб прославляет смерть потому, что зло и пошлость разлетаются перед ней, как дым. И взирая на Русановых, хочется воскликнуть: "Как хорошо, что есть в мире смерть".

И в смерти равенство, болезнь всех равняет. Уже в самом начале повести Солженицын находит очень верные и точные краски, чтобы показать, как болезнь смешивает все карты, стирает все социальные различия:

"Но в тишине особенно стало слышно и раздражало, как где-то шепчут и шепчут – и даже прямо в ухо Павлу Николаевичу. Он не выдержал, сорвал полотенце с лица, приподнялся, стараясь не сделать больно шее, и обнаружил, что шепчет его сосед узбек – высохший, худенький, почти коричневый старик с клинышком маленькой черной бородки и в коричневой же потертой тюбетейке.

Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в потолок и шептал – молитвы, что ли, старый дурак?

– Э! аксакал! – погрозил ему пальцем Русанов. – Перестань! Мешаешь!

Аксакал смолк. Опять Русанов лег и накрылся полотенцем. Но уснуть все равно не мог. Теперь он понял, что успокоиться ему мешает режущий свет двух подпотолочных ламп – не матовых и плохо закрытых абажурами. Даже через полотенце ощущался этот свет. Павел Николаевич крякнул, опять на руках приподнялся от подушки, ладя, чтоб не кольнула опухоль.

Прошка стоял у своей кровати близ выключателя и начинал раздеваться.

– Молодой человек! Потушите-ка свет! – распорядился Павел Николаевич.

– Та ще... лекарства нэ принэсли... – замялся Прошка, но приподнял руку к выключателю.

– Что значит – "потушите"? – зарычал сзади Русанова Оглоед. – Укротитесь, вы тут не один.

Павел Николаевич сел как следует, надел очки и, поберегая опухоль, визжа сеткой, обернулся:

– А вы *повежливей* можете разговаривать?

Грубиян скорчил кривоватую рожу и ответил низким голосом:

– Не оттягивайте, я не у вас в аппарате.

Павел Николаевич метнул в него сжигающим взглядом, но на Оглоеда это не подействовало ничуть.

– Хорошо, а зачем нужен свет? – вступил Русанов в мирные переговоры.

— В заднем проходе ковырять, — сгрубил Костоглотов.

Павлу Николаевичу стало трудно дышать, хотя, кажется, уж он обдышался в палате. Этого нахала надо было в двадцать минут выписать из больницы и отправить на работу! Но в руках не было никаких конкретных мер воздействия.

— Так если почитать или что другое — можно выйти в коридор, — справедливо указал Павел Николаевич. — Почему вы присваиваете себе право решать за всех? Тут — разные больные, и надо делать различия...

— Сделают, — окрысился тот. — Вам некролог напишут, член с такого-то года, а нас — ногами вперед.

Такого необузданного неподчинения, такого неконтролируемого своеволия Павел Николаевич никогда не встречал, не помнил. И он даже терялся — что можно противопоставить? Не жаловаться же этой девчонке. Приходилось пока самым достойным образом прекратить разговор. Павел Николаевич снял очки, осторожно лег и накрылся полотенцем.

Его разрывало от негодования и тоски, что он поддался и лег в эту клинику. Но не поздно будет завтра же и выписаться. На часах его было начало девятого. Что ж, он решил теперь все терпеть. Когда-нибудь они успокоятся". (А. Солженицын, "Собрание сочинений", том второй, стр. 27.29, "Раковый корпус").

И еще одного боится Русанов: правды.

Правда и смерть — смерть и правда. Правда в смерти и смерть в правде.

Вернулся из лагеря когда-то преданный им Родичев и другие, преданные им. И вот боязнь, боязнь их возвращения, боязнь побоев, унижений, и смерть в виде подступающей болезни.

Кульминационный пункт — сцена в уборной. Одно из самых блестящих мест у Солженицына. Причем внутреннее состояние Русанова соединяется с внешним фоном. Все это естественно, свободно, без натяжек. Внутренний мир советского бюрократа, подленького, эгоистичного, трусливого и жалкого, здесь выражен так ярко, что нельзя это место не запомнить:

"Однако, если трезво разобраться, – конечно, зряшен был первый невольный испуг Павла Николаевича. Еще, может быть, никакого Родичева нет, и дай Бог, чтоб он не вернулся. Все эти разговорчики о возвратах вполне могут быть легендами, потому что в ходе своей работы Павел Николаевич пока не ощущал тех признаков, которые могли бы предвещать новый характер жизни.

Потом, если даже Родичев действительно вернулся, то в К., а не сюда. И ему сейчас не до того, чтобы искать Русанова, а самому надо оглядываться, как бы его из К. не выперли снова.

А если он и начнет искать, то не сразу же найдет ниточку сюда. И сюда поезд идет трое суток через восемь областей. И, даже доехав сюда, он во всяком случае явится домой, а не в больницу. А в больнице Павел Николаевич как раз в полной безопасности.

В безопасности!.. Смешно... С этой опухолью — и в безопасности...

Да уж, если такое неустойчивое время наступит, так лучше и умереть. Лучше умереть, чем бояться каждого возврата. Какое безумие! — возвращать их! Зачем? Они там привыкли, они там смирились — зачем же пускать их сюда, баламутить людям жизнь?

Кажется, все-таки Павел Николаевич перегорел и готов был ко сну. Надо было постараться заснуть.

Но ему требовалось выйти — самая неприятная процедура в клинике.

Осторожно поворачиваясь, осторожно двигаясь, — а опухоль железным кулаком сидела у него на шее и давила, — он выбрался из закатистой кровати, надел пижаму, шлепанцы, очки, и пошел, тихо шаркая. За столом бодрствовала строгая черная Мария и чутко повернулась на его шарканье. У начала лестницы в кровати какой-то новичок, дюжий длиннорукий грек терзался и стонал. Лежать он не мог, сидел, как бы не помещаясь в постели, и бессонными глазами ужаса проводил Павла Николаевича.

На средней площадке маленький, еще причесанный, желтый-прежелтый, полусидел на двух подмощенных подушках и дышал из кислородной, плащпалаточного материала. У него на тумбочке лежали апельсины, печенье, рахат-лукум, стоял кефир, но все это было ему безразлично — простой бесплатный чистый воздух не входил в его легкие, сколько нужно.

В нижнем коридоре стояли еще койки с больными. Одни спали. Старуха восточного типа с растрепавшимися космами раскидалась в муке по подушке.

Потом он миновал маленькую каморку, где на один и тот же короткий нечистый диванчик клали всех, не разбирая, для клизм.

И, наконец, набрав воздуха и стараясь его удерживать, Павел Николаевич вступил в уборную. В этой уборной, без кабин и даже без унитазов, он особенно чувствовал себя неотгороженным, приниженным к праху. Санитарки убирали здесь много раз в день, но не успевали, и всегда были свежие следы или рвоты, или крови, или пакости. Ведь этой уборной пользовались дикари, не привыкшие к удобствам, и больные, доведенные до края. Надо было попасть к главному врачу и добиться для себя разрешения ходить во врачебную уборную.

Но эту деловую мысль Павел Николаевич сформулировал как-то вяло. Он опять пошел мимо клизменной кабинки, мимо растрепанной казашки, мимо спящих в коридоре. Мимо обреченного с кислородной подушкой. А наверху грек прохрипел ему страшным шепотом:

– Слушай, браток! А тут – всех вылечивают? Или умирают тоже?

Русанов дико посмотрел на него – и при этом движении остро почувствовал, что уже не может отдельно поворачивать головой, что должен, как Ефрем, поворачиваться всем корпусом. Страшная прилепина на шее давила ему вверх на челюсть и вниз на ключицу.

Он поспешил к себе. О чем он еще думал?!.. Кого он еще боялся!.. На кого надеялся?.. Тут, между челюстью и ключицей, была его судьба. Его правосудие. И перед этим правосудием он не знал

знакомств, заслуг, защиты" (там же, стр. 221-224).

И чем ближе и неумолимее подступает смерть, тем эфемернее окружающий мир, – и вдруг он становится человечнее, мягче, – дуновение Духа касается и его.

"Ему было так жаль себя, что наплывали слезы, все время застилали зрение. Днем он прятал их то за очками, то за насморком будто, то накрывался полотенцем, а эту ночь тихо и долго плакал, ничуть не стыдясь перед собой. Он с детства не плакал, он забыл, как это – плакать, а еще больше совсем забыл он, что слезы, оказывается, помогают. Они не отодвигали от него ни одной из опасностей и бед – ни раковой смерти, ни судебного разбора старых дел, ни завтрашнего укола и нового бреда, и все же они как будто поднимали его на какую-то ступеньку от этих опасностей.

Ему будто светлей становилось". (Там же, стр. 289).

"На какую-то ступеньку" – в нем пробуждался человек.

Но это ненадолго. Наступает улучшение. Он будто бы выздоровел. И тут же улетучивается все человеческое, что в нем, было, проснулось, – в конце повести перед нами тот же самоуверенный, эгоистичный, самодовольный партийный бюрократ. Таким образом, развитие Русанова кольцевое – в конце он тот же, что в начале.

Но нет, не тот. Смерть не ушла; осторожно одной лишь фразой вскрывает Солженицын будущее Русанова: улучшение временное. Через год – опять болезнь, опять уколы, опять нежить.

Русанов, вновь обретший здоровье, самоуверенный, смеющийся, готовый вновь командовать, приказывать, давить, — обреченный на смерть.

Здесь, в Люцерне, где я сейчас живу, сохранился средневековый крытый мост. Мост смерти. В середине часовня — статуя Божией Матери, а на перекрытиях древние фрески. Короли, вельможи, прекрасные дамы, епископы, — и всюду за ними смерть. Скелет, кладущий костлявую руку на плечо. И за представителями нового класса — скелет с костяной рукой на плече.

Новый класс — директора, партийные боссы, кагебисты, генералы, — Русановы, Дроздовы.

Как все-таки хорошо, что существует в мире смерть.

Классу Русановых противостоит Олег Костоглотов (Оглоед) — alter ego автора.

Костоглотов — величайшая победа Солженицына. Прежде всего, победа над самим собой. Основной недостаток Солженицына, намечавшийся в его ранних произведениях, расцветший махровым цветом в его исторических произведениях — "соцреализм" — однолинейность, однотипность образов.

В его "Раковом корпусе" этот недостаток полностью преодолен. Здесь все образы живые, многоцветные, с внутренней динамикой. Таков и Костоглотов. Грубиян, матерщинник, лагерник. И есть в нем нечто безмерно располагающее, обаятельное.

Первый раз я читал "Раковый корпус" осенью 1967 года в самиздате. Дал прочесть и моим соседям: молодому человеку и его жене, ожидавшей ребенка.

Прочтя, сказала: "Если у меня родится сын, назову Олегом. В честь Оглоеда".

Но что это, что привлекает в Оглоеде? Прежде всего искренность, как в Денисовиче, как в Матрене: без маски, без всяких фраз.

И другое: не удалось его сломить Русановым всех мастей. И всех рангов. Не запугали и не купили. Он остался человеком. Человеком суматошным, взбалмошным, грубоватым. Но человеком мыслящим, ищущим, – главное ищущим. Хочет он найти правду. И если найдет, – жизни не пожалеет.

Но трудное это дело искать. Словам он не верит. Красивым словам и красивым мыслям. Подавай ему правду. И еще хочет он настоящей любви.

Грубость и вечная матерщина – это нечто внешнее, своего рода защитный рефлекс против Русановых. А в глубине души – лиризм. Ему мало физиологии; он ищет любви.

Реализм, переходящий в символ, – два жалких букетика. Фиалки, которые он прячет в рукавах грязной, когда-то солдатской, потом пролежавшей семь лет в лагерной каптерке шинели.

Фиалки в бушлате – это ли не символ? Символ Костоглота. И всех нас.

И опять (уж в который раз) приходит на память некрасовское:

"В рабстве спасенное сердце свободное,

Золото, золото, сердце народное".

Однажды завел меня, помню, Володя Буковский к одному известному сионисту. И начался спор о русском народе.

– Русский народ – мертвый. Вот он, – сказал

он и протянул мне фото: Маленков в белом костюме вместе с Хрущевым, плетущиеся вслед за Сталиным к мавзолею.

"Нет, русский народ не мертвый. Вот он", – говорю я, показывая на Олега и его друзей.

Костоглотов скептик до глубины души. Он не верит в казенную идеологию. Он не верит ни в какую идеологию. Он верит в жизнь.

История и здесь зло подшутила над теоретиками. Как известно, Маркс, Энгельс, Ленин и другие их последователи всегда отстаивали приоритет практики над теорией. Призывали учиться у жизни. И вот перед нами представитель официальной идеологии Русанов исходит из чисто теоретических постулатов – из учения давно умерших теоретиков.

А Оглоед (его оппонент) сокрушает высокие теории жизнью, практикой. Это, конечно, не случайно. Ибо история всегда парадокс. Перманентный парадокс. Всюду и везде.

Марксизм-ленинизм потерпел поражение тотчас, как стал "измом" (недаром Маркс этого так боялся; известна его фраза: "Я не марксист").

И действительно, "измы" порождают Русановых, жрецов, которые, как все жрецы, всегда ограниченны, консервативны, корыстны. "Измы" порождают и Оглоедов, которые идут от жизни, полны жизни, пьяны жизнью, ушиблены жизнью – противопоставляют себя "измам", ненавидят "измы" и в конечном итоге выбрасывают их ко всем чертям.

И еще один парадокс. Русанов. Судя по фамилии, он должен быть русским. На самом деле он абсолютно чужд народу, не любит его и боится, чура-

ется его, как огня. Он заперся в башню, не ”слоновой кости”, а в бумажную башню. И считает оскорблением, что его положили с простыми смертными, хоть и сам он смертный.

А Оглоед, который, согласно прозвищу, должен быть далек от жизни, от народа... он сам народ, он сама жизнь. Его невозможно оторвать от народа, от жизни. Оба романа Оглоеда окончились в общем неудачей. Он так и остался один. Но вдали брезжит свет, его ожидает счастье.

Он, как народившийся на свет ребенок, жадно впитывает все впечатления: и зоологический сад, и мясные палочки. У Олега в сердце теплота и доброта. У Олега на плече не костяная, мертвая, а живая, теплая женская рука. Рука женщины по имени Вега. Рука Веги, рука жизни.

Русанов – новый класс. А Олег – не новый класс, он новый человек. И рядом с ним в будущем новые люди. Писатели, поэты, проповедники, диссиденты. Жизнь-Вега кладет свою теплую руку им на плечо.

Как все-таки хорошо, что в этом мире есть жизнь!

* * *

Пожалуй, больше, чем о ком-либо из героев ”Ракового корпуса”, писали о Шулубине. Личность, действительно, весьма характерная. Старый интеллигент, ушибленный революцией. Били и давили его 38 лет. И все-таки не выбили, не додавили. Не выби-

ли из него душу живу. Его появление в палате удивляет.

Нет, это не сенсация. Он маленький, незаметный человек. Но есть нечто странное в его молчаливости. В его странных, неожиданных репликах. В его молчании неприятие, протест. И нечто, заставляющее догадываться о тяжелой внутренней работе, о драме, о разочаровании.

О, он не всегда был такой. Когда-то в прошлом он был романтиком. Романтиком революции. Об этом говорит лишь одна реплика. Бурный спор в палате. Между представителями правящей касты и плебсом.

Патриции палаты: Русанов, догматик, и Вадим, молодой парень, будущий ученый, сын коммуниста. Плебс представлен неутомимым Оглоедом.

Спор идет о самом главном: о правах господствующего класса на деньги, на привилегии, на роскошь. Вдруг "загробный голос".

"И на это б еще Костоглотов что-нибудь бы рявкнул беспутное, но вдруг из своего дальнего дверного угла к ним полез Шулубин, о котором все забыли. С неловкостью переставляя ноги, он брел к ним в своем располошенном неряшливом виде, с расхристанным халатом, как поднятый внезапно среди ночи. Все увидели – и удивились. А он встал перед философом, поднял палец и в тишине спросил:

– А вы – "Апрельские тезисы" знаете?

– Ну кто ж их не знает! – улыбнулся философ.

— И можете по пунктикам перечислить? — гортанно допрашивал Шулубин.

— Не обязательно перечислять, уважаемый. Апрельские тезисы ставили вопрос о путях перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической. И в этом смысле...

— Так вот там такой был пункт, — шевельнул Шулубин косматыми бровями над кругами больных утомленных табачно-красных глаз: "Плата всем чиновникам не выше средней платы хорошего рабочего". С этим начинали революцию.

— Серьезно? — удивился доцент. —Не помню.

— Приедете домой — проверьте Так облздрав не должен получать больше вот этой Нэльки.

И перед лицом философа провел запретительно пальцем.

И захромал себе в угол" (там же, стр. 453).

В своем известном "Государство и революция" Ленин упрекает социал-демократов за то, что они забыли о революционных высказываниях Маркса так же, как поздние христианские идеологи "забыли о раннем христианстве с его революционно-демократическим духом". И вот менее чем через сорок лет оказывается, и его последователи забыли о его высказываниях, проникнутых революционно-демократическим духом. Забыли прочно, основательно, полностью и целиком. С тем, чтобы изгладить их начисто, изгладить из памяти и не вспоминать никогда. Этот как будто незначительный эпизод представляет собой сцену почти шекспировской силы. К "властителям и судьям" явился их былой

покойный учитель в образе больного, обреченного на смерть Шулубина. В ответ молчание.

"Философ поправил свою пряжку на горле, не находясь.

. . . .

Русанов вообще сел и отвернулся: Костоглотова он больше видеть не мог, его трясло от омерзения (но из-за длинных его кулаков не решался он действовать административно), а отвратительного этого сыча из угла недаром Павел Николаевич сразу не полюбил, ничего умней сказать не мог – приравнять облздрав и поломойку! О чем тут и разговаривать?! Все сразу рассыпались – и не видел Костоглотов, с кем дальше ему спорить" (там же, стр. 454).

Так на страницах романа произошла очная ставка. Очная ставка новых господ с тем, кого они называют своим вождем, основоположником, учителем, чьи портреты висят у них всюду и везде.

"Плохо, когда из революционера делают икону, – писал Ленин. И вон он "икона", и у кого? У Русанова. Поистине, что посеешь, то и познешь.

И наконец, последний разговор с Костоглотовым. Разговор перед операцией. Быть может, предсмертный разговор. Шулубин рассказывает о своей жизни. Всю жизнь лгал. Лгал, когда был ученым. Лгал на лекциях. Потом ушел в Среднюю Азию. Забился в угол. И здесь лгал. Без конца лгал. Будучи библиотекарем, должен был изымать книги. Книги дорогие, полные мыслей, по которым когда-то учился. Книги репрессированных авторов.

И снова лгал, говорил не то, что думал. Почему? Зачем? Для детей. Дети (сын с дочерью) вырос-

ли эгоистами, грязной сволочью, которые знать не хотят отца. Для жены. Жена умерла. Чтоб не попасть в тюрьму. Не попал. Но всю жизнь фактически в тюрьме. Слово боится сказать. Если бы не операция, после которой он будет не человек, а мешок, набитый дерьмом, с кишкой, выведенной наружу, и с глазу на глаз не посмел бы говорить, что думает, и сейчас. Он не хочет капитализма, нет! Слишком это противоречит всему, чему его учили книги, книги, которые сейчас он предает аутодафе. Но если не капитализм, то что же? Мельком упоминаются "христианские социалисты".

Но скепсис. Он слышал, что они есть за границей. Но с кем собираются обновлять мир? И вывод: нравственный социализм. К этому выводу приходит Шулубин. К этому выводу по существу приходит и Костоглотов. Правы ли они? Нет! Священное Писание гласит ясно и строго: "Не сотвори себе кумира". Ни из чего. В том числе и из нравственных предписаний. Нравственные предписания, мораль, не согретая любовью, – педантизм и еще хуже – фарисейство. Где же выход? Христианский социализм.

Мы бы могли ответить Шулубину, кто его будет строить. Европейская хорошая молодежь. Итальянские хорошие верующие мальчики и девочки, энтузиасты и романтики, живущие коммунами, которых обзывают фашистами, мракобесами и коммунистами. Молодые католики, молодые протестанты, молодые буддисты, молодые верующие евреи (в Израиле в киббуцах. в районе Ашкелона и Ашдода, в Иудее и Самарии) .

Молодые социалисты, пока еще не христиане,

но стоящие на пороге христианства. С ними мы будем строить и построим. Ибо строить можно не на абстрактной морали, а на вере в Бога живого. Все это сказал бы я Шулубину.

Но в раковом корпусе некому ему это сказать. Да и надо ли говорить? Не поверил бы. Слишком отравлен он скепсисом, неверием в людей, бесконечной ложью.

Безнадежно и уныло ложится он на операционный стол. Выживет ли? Помоги ему Бог!

"Раковый корпус" – произведение великое не только в своих основных героях, но и в героях второстепенных, в частностях, в деталях. Здесь эпизоды шекспировской силы. Всего один абзац, но от него мороз по коже.

"Крякнул Ефрем, как потянувши не в силу.

–Не надо. Ничего не надо.

Да она что-то и не уговаривала.

– Не хочу резать. Ничего больше не хочу.

Она смотрела и молчала.

– Выписывайте!

Смотрела она в его рыжие глаза, после многого страха перешагнувшие в бесстрашие, и тоже думала: зачем? Зачем его мучить, если нож не успевал за метастазами?

– В понедельник, Поддуев, размотаем – посмотрим. Хорошо?

(Он требовал выписывать, но как еще надеялся, что она скажет: – "Ты с ума сошел, Поддуев? Что значит выписывать? Мы тебя лечить будем! Мы вылечим тебя!.."

А она соглашалась.

Значит, мертвяк.)" (Там же, стр. 130).

Мы не говорим о других. О пациентах ракового корпуса. Ибо это значило бы выписать всю книгу.

Что ни образ – потрясающая трагедия. Что ни реплика – шедевр. У всех болезнь одна. Рак. Метастазы. Смерть. Но нет ни одного пациента, который был бы похож на другого. Которого вы могли бы спутать с другим. Который был бы похож на другого.

Мы сказали Шекспир. Да, Шекспир. Сервантес. Или Лев Николаевич Толстой. Гоголь.

Такого единства во множестве, такого множества индивидуальных оттенков, переходов, тонов и полутонов, кажется, больше ни у кого нет.

И особо стоят женские образы. Целая галерея женщин.

Врач Донцова – великая труженица. Подвижница. Борец против рака. Сама павшая на поле битвы. Сама заболевшая раком. Изумительно передана вся гамма ощущений врача, который становится больным. Борца, который становится жертвой. Руководителя, уверенного и властного, в беззащитного слабого больного.

Простушка Зоя. Все же сохранившая в прозаической обстановке лирику и человеческое сердце. Девушка, обреченная на рак груди, на удаление груди, которая просит также обреченного мальчика поцеловать грудь.

И наконец, поэтический образ Веги. Сила в слабости. Подвиг и нежность. Вега – путеводный образ России. Я верю в Вегу. Вега не потонет в вонючем болоте, в нестерпимой пошлости советского чинов-

ничества. Вега осилит все. Вега спасет Русь!

Я перечитал "Раковый корпус" дважды. Я читал придирчиво. Искал хоть одного фальшивого звука. Хоть один коробящий нюанс. Я его не нашел.

Про "Раковый корпус" можно сказать то же, что Герцен говорит про "Мертвые души". Произведение горькое, тяжелое, но не безнадежное. Тьма. Болезнь. Но брезжит свет. Ненавязчиво. Не искусственно. И сюда приходят первые лучи занимающегося над страной дня. Отсутствие славословий умершему диктатору во вторую годовщину его смерти. Снятие в полном составе Верховного суда.

Среди тьмы проблески надежды.

Поправившийся, выписанный из больницы уезжает Костоглотов.

С проблеском надежды закрывает книгу читатель. С проблеском надежды кладет перо автор гениального романа. Романа о России, вырывающейся из кошмара. России, плывущей в будущее.

КАК ТАЛАНТЛИВ!

Перед самым отъездом из Москвы прочел книгу Н.А. Розенель, вдовы А.В. Луначарского, "Память сердца".

Вспоминая о времени "своей славы" (жена знаменитого наркома), она рассказывает, как однажды в двадцатые годы была на спектакле с участием тогда еще молодого Блюменталь-Тамарина. Рядом с ней сидел старик Южин, люто ненавидевший Блюменталя.

Шел спектакль. И вдруг в самый патетический момент она нечаянно взглянула на соседа. Лицо маститого артиста и драматурга было мокро от слез. Сжимая руку Розенель, Южин пробормотал: "Как талантлив! Как талантлив этот негодяй, дитя мое!"

* * *

Несколько дней назад, 14 ноября 1980 года, я пережил неприятность: ехал в Мадрид. На франко-испанской границе задержали. В паспорте не было штампа от испанского консульства. После стычки с испанскими полицейскими (причем лагерный мат сотрясал стены станции, – к счастью, соплеменники Дон-Кихота его не понимали) меня вернули на французскую территорию.

И вот я в гостинице чудесного французского городка Перпиньяна. Вынул из портфеля маленькую книжку, взятую мною в путь. Злоба перекинулась с испанских пограничников на третью эмиграцию (она мне также много насолила и объявила мне бойкот). И на автора книжечки неожиданно сказал: "И этот тоже!" – и стал читать. Читал, не отрываясь, два дня. Субботу и воскресенье. В который раз. Дошел до следующего места:

"На одном из стульев, проходя, различила бесформенно-осевшую шинель Щагова. Как он из комнаты бросился! До того испугался, что шинель забыл. Было очень тихо, и из соседней комнаты по радио слышался, слышался... да... листовский этюд фа-минор.

Ах! И она ведь его играла когда-то в юности –

но понимала разве? Пальцы играли, душа же не отзывалась на это слово – disperato – отчаянно...

Прислонившись лбом к среднему стеклу, Надя ладонями раскинутых рук касалась других холодных стекол. Она стояла как распятая на черной крестовине окна. Была в жизни маленькая-маленькая теплая точка – и ее не стало. Впрочем, в несколько минут она уже примирилась с этой потерей. И снова была женой своего мужа.

Она смотрела в темноту, стараясь угадать там трубу тюрьмы Матросская Тишина. Disperato! Отчаянно! Это бессильное отчаяние, порывающееся встать с колен и снова падающее! Это настойчивое высокое ре-бемоль – надорванный женский крик! крик! крик, не находящий разрешения!..

Ряд фонарей уводил куда-то в черную темноту будущего, до которого дожить не хотелось...

Московское время объявили после этюда, – шесть часов вечера. Надя совсем забыла о Щагове, а он опять вошел, без стука.

Он нес два стаканчика маленьких и бутылку.

– Ну, жена солдата! – бодро, грубо сказал он. – Не унывай. Держи стакан. Была б голова, а счастье будет. Выпьем за воскресение мертвых!" (А. Солженицын, "В круге первом", том третий, стр. 408, 1969 год, "Посев").

И вдруг почувствовал на глазах слезы. Взрослым я плакал немного – всего раза два-три.

И сказал: "Как талантлив! Как талантлив!" (лагерный эпитет пропускаю).

* * *

Выше я выразил предположение, что от всей нашей эпохи останутся стихи Пастернака, ”Раковый корпус” и ”Реквием” Ахматовой.

Это потому, что там тема перерастает рамки времени, — смерть, болезнь, женский плач, Христос!

Но есть и другой аспект литературы — проникновение в суть эпохи, изображение ее настолько красочное и яркое, что получается ”энциклопедия русской жизни” (по выражению Белинского).

Роман ”В круге первом” — энциклопедия русской жизни сороковых, пятидесятых годов.

Галерея образов: от Сталина до безграмотного мужичка Спиридона.

От преуспевающего писателя Галахова (Симонова) до Абакумова. От тонких интеллектуалов до грубых солдафонов сталинской выделки, от распутных поганых баб до поэтической Агнии.

Энциклопедия! И все полноценно. Ярко. Рельефно. Не вырубишь топором.

Амплитура! Не обнять руками. От дерзкого плаката — до лирического задушевного шепота. Словом, как говорят артисты: ”Нормальный гений”.

* * *

”Архипелаг ГУЛаг”. Лагерь. Лагерь как основное содержание советской жизни.

Открываем роман ”В круге первом”.

Начало, напоминающее великосветский роман прошлого столетия.

”Кружевные стрелки показывали пять минут пятого. В слепом замирающем декабрьском дне

бронза этих часов на этажерке казалась совсем темной. Незатуманенные двойные стекла высокого окна, начинающегося от самого пола, открывали глазу где-то внизу торопливое снование улицы и дворников, сгребавших только что выпавший, но уже отяжелевший, коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов.

Видя все это и не видя этого всего, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислонившись к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое-долгое. Концами пальцев он перекидывал глянцевитые пестрые листы иностранного журнала. Но не видел, что в нем". (А. Солженицын, там же, том третий, стр. 5).

Солженицын? А может быть, нет? Быть может, Тургенев? Тоже нет. Для Тургенева что-то уж очень утрировано великосветское. Он бы не заметил ни бронзовых часов, ни кружевных стрелок, – он других часов и не видел, – и, вероятно, не предполагал, что на свете существуют часы без кружевных стрелок. Барин! Быть может, Бальзак, Мопассан, кто-нибудь другой из великих французов, великих, но тщеславных буржуа, всю жизнь вздыхавших по великосветским гостиным, куда их не пускали.

А главное, при чем тут ГУЛаг? Но ГУЛаг прорывается уже на второй странице.

"Нервные пальцы Володина быстро и бессмысленно перелистывали журнал, а внутри – страшок то поднимался и горячил немного, то опускался и становилось холодновато". (Там же, стр. 6).

Страшок чего? ГУЛага, который придет к Иннокентию в конце романа. Таким образом, и здесь,

в шикарных апартаментах Министерства иностранных дел – ГУЛаг. Тень ГУЛага.

А затем путь Иннокентия. Он родился от одного из тех нелепых, смешанных браков, которых так много было в двадцатые годы. Сын аристократки (тонкой интеллигентки), аристократки духа, и красного командира.

Все не навязчиво, не грубо, – именно так, как бывало в жизни (сколько я знал таких браков).

Затем блестящая карьера. Женитьба на дочери прокурора (советского сановника). Только одна ступень отделяет преуспевающего дипломата от высших сфер.

И вдруг внутренний конфликт. Один из тех, который пережил в той или иной степени каждый советский человек. Всякий! От директора завода до Патриарха Московского и всея Руси. От заведующего задрипанной провинциальной библиотеки до министра. От лагерника до академика.

Надо, – ничего, собственно, не надо, – так, чуть-чуть пойти на сделку с КГБ.

Когда-то в лагере (я рассказывал об этом во втором томе своих воспоминаний) от меня этого требовал оперуполномоченный Малухин. Отчетливо помню свое ощущение – так, верно, должна себя чувствовать женщина, когда ее хотят изнасиловать.

Прикосновение к чему-то скользкому, гадкому, вонючему, холодному. Я преодолел это отвратное искушение. И особенно не пострадал. Спасла репутация юродивого ("блаженненький" – что с него возьмешь!). И так и остался на лагерных задворках. На задворках советской жизни, а потом и на задворках и жизни эмигрантской.

А от Иннокентия и вообще ничего не требуется. Надо лишь закрыть глаза на то, что грозит опасность старому врачу, другу покойной мамы. И он звонит по телефону. И далее начинается его путь в ГУЛаг.

Автор показывает, как среди многочисленных коллизий все время тень, роковая тень. Порой как будто уходит, порой о ней можно забыть —скрывается, вновь возникает, и именно тогда, когда ее не ждешь – встает, как "призрак беспощадный".

И конец. Распахиваются ворота Лубянки, чтобы захлопнуться навсегда: в течение одной ночи блестящий дипломат превращается в бесправного, жалкого арестанта. И внешне и внутренне линия Иннокентия Володина в романе —шедевр. Шедевр именно благодаря своей естественности, своей, если можно так выразиться, художественной неторопливости. Ни одного лишнего шага, ни одного лишнего слова, – все естественно и правдиво до конца.

Как будет не хватать этого знаменитому писателю потом, в его благородных и судорожных попытках создать историческую эпопею.

* * *

И с высот резкий спуск. В ад. Туда, о чем наверху тревожный шепот. О чем боятся говорить. Думать. Упоминать. Но что снится в кошмарных снах.

Следующая глава называется "Идея Данте". Так же, как весь роман "В круге первом" (опять по Данте). Шарашка. Там, где заключенные "мудрецы" (ученые, инженеры, даже филологи) используются

по специальности: "служат, чем могут". А в действительности, как во всех советских институтах, халтурят, "бег на месте", – и лишь немногие работают. Здесь был великий Туполев, здесь был не менее великий Королев. Научно-исследовательский институт под стражей (с оперуполномоченными, лагерными стукачами, надзирателями и конвоирами) – такого, пожалуй, и у Данте не встретишь. Не придумал.

"Какая смесь одежд и лиц". И все знакомые лица. Сразу нас встречает Рубин – прототип Лев Копелев.

Я не знаком с Копелевым и не знаю, каков он в действительности. Солженицын усиленно рекомендует его как "большевика", коммуниста, оставшегося верным своим идеям и в тюрьме. В действительности это скорее тип меньшевика. Из тех, что сидели в тюрьмах и в лагерях в двадцатых, тридцатых годах. Или бывшего меньшевика, случайно примкнувшего к большевикам на каком-то повороте. Мне, в частности, этот образ очень напоминает знаменитого Рязанова – марксиста-талмудиста – директора Института Маркса-Энгельса-Ленина, исключенного из партии в 1931 году за связь с меньшевиками и за покровительство им.

Известна его фраза: "Я не большевик, я не меньшевик, я не ленинец, не троцкист, я марксист, а потому коммунист". Маркс у этих людей нечто вроде оракула. Маркс и только Маркс.

Маркс действительно является импонирующей личностью; многие положения, выставленные им, бесспорны. Плохо лишь одно: когда этого замечательного человека, не спободного, однако, от ино-

гда грубых противоречий, эмоциональных вывихов, предрассудков своей среды и эпохи, человека по натуре страстного, эмоционального, нетерпимого, — делают хранителем вечной незыблемой истины.

Здесь одно из самых уничтожающих противоречий марксизма: во всем диалектика, развитие, прогресс, во всем, — кроме марксизма, где все сказано, предвидено, разъяснено раз навсегда Марксом.

Сам Маркс, видимо, чувствовал это трагическое противоречие. И отсюда его знаменитая фраза: "Я не марксист". Что правда, то правда, — не марксист. Особенно в советском понимании.

В двадцатые годы попал бы за решетку как злостный антисемит (таких полунацистских статей, как брошюра "О еврействе", тогда не прощали), в тридцатые годы он был бы в тюрьме как ярый немецкий патриот и не менее ярый враг славянства (вдохновитель теории немецкого превосходства), ну а в сталинское время и говорить нечего — космополит 96-й пробы. Да еще еврей. То, что он к тому же ярый антисемит, не могло бы быть принято как смягчающее вину обстоятельство.

Но марксисты типа Рязанова-Рубина сознательно проходят мимо этих противоречий и делают из Маркса мумию.

"Маркс, седин портретных рама.
Как же жизнь его от представлений далека".
(В. Маяковский)

Далека. Он прежде всего искатель. Искатель страстный и вдохновенный. И даже в такую сухую

науку, как политическая экономия, он умудрился вдохнуть огненную страсть.

И никогда не останавливался на достигнутом. Первый том "Капитала" противоречит второму, третий противоречит первым двум. И недаром любимым его героем был Прометей.

Но для Льва Григорьевича Маркс – не Прометей, а Зевс, который все расчел и все предвидел. И есть только два критерия: "прогрессивно" – "реакционно". До чего же не любил "мавр" Маркс таких людей!

Но сердце лучше головы. Да и голова скептического еврея прорывает марксистскую догматику. Отсюда "суд над Игорем Святославовичем". Блестящая сатира. Как раз Маркс когда-то говорит про Сервантеса, что он в "Дон Кихоте", желая написать пародию на рыцарские романы, пошел гораздо дальше, поразил самую идею рыцарства.

Так и Рубин. Желая создать пародию на советские суды, пошел гораздо дальше: поразил самую идею марксистской историографии с ее вечными приговорами покойникам, с ее вечной шкалой оценок по двубалльной системе: реакционно – прогрессивно.

И сердце лучше головы: оно пересиливает схему. Советская система (и КГБ) прогрессивна, поэтому Володин, предупреждающий врага (реакционера) об аресте, объективно реакционен. Разоблачить Володина "прогрессивно". Но здесь осечка: сердце лучше головы.

Рубин не дает сведений о Володине. Что Володину, впрочем, нисколько не помогает, но зато топит еще и другого человека.

Нет, Рубин, произвол, беззаконие, безнравственность не могут быть прогрессивны, как не могут быть прогрессивны ни сифилис, ни триппер, ни чума, ни холера.

И рядом другой персонаж, также имеющий реальный прототип – Сологдин. Его прототип мы все хорошо знаем. Внешнее сходство схвачено блестяще. Писатель Дмитрий Панин.

Что является наиболее характерной чертой Сологдина? Стойкость, борьба за жизнь. Это основа. Все остальное лишь формы.

Пилка дров, физическая закалка – борьба за жизнь. За то, чтобы не превратиться ни в доходягу, ни в интеллигентного хлюпика. Слабосильного и неврастеничного.

Его несколько смешной педантизм. Нелюбовь к иностранным словам. Замена их русскими выражениями, что дается с трудом. Борьба за жизнь. Стремление (правда, несколько наивное) сохранить своеобразие личности, борьба против нивелирующей силы, которая делает из лагерника автомат, подавляет личность. И его работа. В конце романа блестящий ход: когда он уничтожает собственное изобретение и заставляет начальника принять все его условия. Только тогда он в течение двух-трех дней возобновляет уничтоженное.

Борьба за жизнь. И в то же время педантизм, размеренность во всем. И самолюбие. Он, вечно унижаемый, гонимый. Но не сдающийся. Сохраняющий свою самобытность.

Таков он и здесь, в эмиграции. Сколько его оплевывали, душили, давили, унижали. Но ни уни-

зить, ни придавить не удалось. Он все такой же, пытливый, ищущий, идущий своим путем, имеющий в руках ко всем вопросам какие-то свои отмычки, свои ключи.

Не будучи согласен во многом с автором "Записок Сологдина", я преклоняюсь перед ним, перед его своеобразием, стойкостью, борьбой за жизнь.

"Все-таки ты не лакей. Я думала, совсем, как есть, лакей", – говорит Настасья Филипповна Рогожину.

Вот уж о ком нельзя сказать, что он лакей. О Сологдине-Панине. В стране лакеев он свободный (в отличие от Рубина, который в лакеях у выдуманного им, фаршированного Маркса). Как хорошо, что в стране лакеев есть Сологдины. Своеобразна жизнь. Под лагерным бушлатом – господа. Под генеральским мундиром – лакеи. Как пелось в одном хорошем старинном водевиле (кажется, Ленского):

"Я из бар попал в лакеи,
Но бывает иногда,
Что лакеи из ливреи
Попадают в господа".

И, наконец, Нержин. По общему мнению, сам автор. Этот тоже не лакей. Но, в противоположность Сологдину, он не индивидуалист, во всяком случае не такой крайний, как Сологдин, который весь в себе. Весь, до последнего атома, до последней молекулы. Нержин общителен, разговорчив, он (как у нас говорят) хороший парень. Сангвиник. Тогда же он

еще не был ни писателем, ни лауреатом.

Образ Нержина есть так же, как образ Олега Костоглотова (Оглоеда), alter ego Солженицына.

Хронологически он появился под пером Солженицына позже, чем Оглоед. Но биографически Нержин много моложе Оглоеда. Это Оглоед, еще не отбывший наказания (он еще только начинает разматывать срок), еще не тронутый страшной болезнью, еще не изведавший бездны горя. В нем больше молодой прыти, энергии. Силы воли. Он сангвиник. Быстро переходит из одного настроения в другое. Он писатель. Но в будущем. Пока только наброски. Пока лишь поиски смысла жизни. Жадный интерес к человеку.

Это романтический период его жизни. Когда рождался писатель. Когда Солженицын был лишь становящимся. Юный Солженицын. Он в это время, как губка, впитывал все жизненные впечатления. Охотно общался с людьми. Юный, бодрый, полный сил Солженицын. В Нержине воплотилось то лучшее, что в нем есть.

Первый том оканчивается словами: ”Выпьем за воскресение мертвых!”

Хочется и мне воскресения мертвых! Да воскреснет Нержин!

Да воскреснет он в Солженицыне и во всех нас! Хороший парень Нержин. Без иллюзий, но без цинизма. Со скепсисом, но без желчи. Со всеми человеческими слабостями, но и с тонкой лирикой. И главное, с хорошими сердечными порывами. Прекрасный парень Нержин. Пусть живет он в России!

Да здравствует молодая Русь! Да здравствует Нержин!

И вдруг неожиданный взлет. Как по волшебству. Из ада на Олимп. Из шарашки туда... туда, где живет Громовержец.

"Комната была невелика, невысока. Окон в ней не было, а двери – две. Хотя не было форточки, но воздух стоял свежий, приятный (особый инженер отвечал за впуск и выпуск воздуха и химическую безвредность его).

Много места занимала низкая темная оттоманка с цветистыми подушками.

На стене над ней горели сдвоенные лампы, прикрытые абажуриками чуть розоватого стекла.

На оттоманке лежал человек, чье изображение столько раз было изваяно в статуях, писано маслом, акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толченым кирпичом, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, поливанной плитки, из зерен пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, выткано на коврах, составлено из самолетов, заснято на кинопленку – как ничье никогда за три миллиарда лет существованин земной коры".

(Солженицын, "В круге первом", стр. 121-122).

Здесь надо вспомнить одно определение не менее знаменитого, хотя и более умного человека, цитата из которого странно прозвучит на страницах книги заядлого антисоветчика:

"Великий художник, срывающий все и всяческие маски".

Это из известной статьи Ленина о Толстом. Именно по этому признаку построена глава о Сталине. Изображение сверхчеловека. Маска. А затем то, что под маской:

"А он просто лежал, немного подобрав ноги в мягких кавказских сапогах, похожих на плотные чулки. На нем был френч с четырьмя карманами, нагрудными и боковыми..."

Легенда и человек. Но это только начало. Дальше.

И опять маска.

"Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших деснах арестантов. По имени этому во множестве были переназваны города и площади, улицы и проспекты..."

И опять то, что под маской:

"А он был просто маленький старик с усохшею на шее кожной сумочкой (ее не изображали на портретах), со ртом, пропахшим листовым турецким табаком, с жирными пальцами, оставлявшими следы на книгах. Ему нехорошо было вчера и сегодня. Спиною и плечами он в теплом воздухе ощущал холодок и прикрыл их бурой верблюжьей шалью". (Там же, стр. 122-123).

Неуютно и страшно в этой кумирне, около этого несчастного и ужасного старика. Все пропитано чем-то промозглым, гнетущим, нечеловеческим.

"Ибо вымысел идолов – начало блуда, и изобретение их – растление жизни. Не было их в начале, и не вовеки они будут.

Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец". (Книга Премудрости Соломоновой 14-я, 12-14).

Да, вошел этот идол по необузданному человеческому тщеславию, ловко играя на человеческих страстях 25 лет назад, и близок его конец – всего четыре года отделяют его от гробовой доски, всего 7 лет от того времени, когда в прах превратятся все многочисленные изображения художников. И потому страхом и безнадежностью покрыты все дела, все слова его. И на него легла тень Гулага. Он основатель и главный тюремщик и главный узник. Он живет в комнате без окон, к нему вводят, как на свидание, лишь ограниченный круг лиц. Тюремщик и узник. Он сам у себя под стражей.

Изображению Сталина посвящены три главы. Сталин наедине с самим собой. Целая гамма переживаний. Злоба против врагов: Тито, Райка. Тщеславие. Старость. Ничто не дает отрады. Дожить до 90 лет. Но радости нет и не будет. Жить и мучиться.

И где-то вдали Христос. Смутно, где-то в глубине души остатки чего-то былого, давно прошедшего. Смутно, чуть шевелится. Но не может разгореться едва тлеющий огонек. Ибо злоба и ненависть в сердце его. А Христос раскрывается лишь любви.

Потом Сталин за работой. "Марксизм и языкознание".

Авторское тщеславие. Авторская радость, когда нашел удачное определение.

И наконец, прием Сталиным Абакумова. И здесь какой-то перерыв. Здесь у Солженицына – большого мастера – какая-то трещина, фальшивые звуки, которые потом дадут себя знать в его исторической эпопее. Здесь впервые выступает та слабая черта Солженицына, которая впоследствии развивается в порок.

Все пишущие в эмиграции о Сталине (в том числе и Солженицын – о других уж и говорить нечего), никак не могут понять одной простой вещи: Сталин, какой бы он ни был, ничуть не глупее их. Не совсем понимает это и Солженицын. Когда Сталин наедине с собой, окруженный тенями, полный ненависти и тоски – это образ правдивый. Таким он и был. Но когда Сталин говорит со своим подчиненным, Сталин-политик – нет.

Не так он был прост, чтоб можно было с ним запросто обсуждать введение смертной казни, террористический акт против Тито, вопросы жизни и смерти. Да, недоверие к людям было характерной чертой Сталина. Но ведь недоверие обоснованное. Последующие годы показали, как его любили его "соратники" – Берия со своей знаменитой репликой в его предсмертный момент: "Пал тиран!" И Хрущев, и Булганин, и все остальные.

Но не только недоверие. Он умел и очаровывать, и быть глубоким, и проникать в людские сердца. И какое-то обаяние в нем было. И очень большое. Ведь дьявол не только с рожками и копытцами – он принимает вид ангела и даже самого Господа. Он и святых вводит в искушение.

Вот эта сторона дьявола ускользнула от Солженицына.

У него Сталин – жестокий, отвратительный и глуповатый старик. И только. И только? Такой Сталин не смог бы околпачить Троцкого, Зиновьева, Бухарина, да и самого Ленина (люди-то ведь были неглупые). Такой Сталин не мог бы околпачить и Ромен Роллана, и Бернарда Шоу, и Лиона Фейхтвангера (ведь профессиональные сердцеведы). И поднимай выше, – Черчилля и Рузвельта, Гарримана и Идена.

Сатанинский ум и сатанинское обаяние. Сатана ведь умен и хитер. Принимает вид ангела. И недаром в ораториях его партию исполняет обычно сладкий тенор. Но Солженицын это изобразить не умеет. Солженицын не глубокий аналитик и (увы) не исторический писатель.

Так же примитивен и Поскребышев в изображении Солженицына. Он, этот таинственный персонаж, единственный, который в течение 29 лет был приближенным Сталина, самым близким к нему лицом, и таинственно исчез (точно в воду канул) на другой день после смерти Сталина, изображен Солженицыным, как недалекий простоватый малый. Но не так о нем говорят люди, его лично знавшие.

Вот перед нами воспоминания Лидии Норд, родственницы и близкого друга Михаила Николаевича Тухачевского:

Однажды Сталин появился в сопровождении Поскребышева на ужине командармов.

После ухода Сталина и Поскребышева Лидия Норд имела беседу с тогдашним Наркомвоенмором

Фрунзе. Вот как характеризует Поскребышева Фрунзе, а затем и Лидия Норд со слов своего знаменитого родственника:

"Поскребышев умел держать язык за зубами". Фрунзе так и не успел мне всего рассказать о нем. Я узнала об этом страшном человеке от других.

Поскребышев фактически являлся единственным доверенным человеком Сталина и его правой рукой. Умный, энергичный и пунктуальный, как часы, — он вместе с тем не имел никаких моральных устоев. Это был идеальный личный секретарь для коммунистического диктатора, пришедшего к власти по трупам своих соратников.

Кроме того, Поскребышев обладал феноменальной памятью, — у него не было записных книжек, и даже номера телефонов он помнил наизусть. Также хорошо он запоминал и лица...

Но как ни запутана биография этого человека, — ясно одно, что он не был от "сохи". Поскребышев владел иностранными языками. Владел отлично, но не любил показывать этого. Он был разносторонне образован и умел найти для своего хозяина полезных ему людей, благодаря трудам которых Сталин стал "корифеем" всех наук". (Лидия Норд. Маршал М.Н. Тухачевский. Париж, 1978 г., стр. 41-42).

Открываем главу Солженицына о Сталине: "Тихое мягкое поглаживание раздалось за дверью. Сталин нажал разрешительную кнопку. В двери показалась голова Сашки (Поскребышева) с лицом клоуна — побитого и тем довольного. "Есь — Сирионыч! — недалеко от шепота ласково спросил он, — Абакумова домой послать, или еще пусть поси-

дит..." (Солженицын, т. III, стр. 140, изд. "Посев").

И дальше: "Этот пензенский ветеринар был по душе денщик" (стр. 141, там же).

Солженицын не глубокий аналитик и (увы!) не исторический писатель. Он Нержин. Хороший русский парень, выросший в Гулаге. Талантливый и бесхитростный. Где ему раскусить дьявола! Затем советский бо-монд. Смесь французского с нижегородским. Вчерашние Васютки и Матрешки, дорвавшиеся до богатства, до власти. Корыстные и жадные. Тянущиеся за старой аристократией и потому похожие на купцов второй гильдии конца века. Где-то мелькает Галахов-Симонов (придворный виршеплет и придворный историограф), разыгрывающий из себя воина.

Вечер в доме прокурора – снова шедевр. Здесь перед нами Солженицын неожиданно оборачивается талантливейшим бытописателем, не уступающим ни Островскому, ни Куприну.

И снова рывок – заправилы КГБ, стервятники, злобные, хитрые и ограниченные.

Антон Яконов – самый интересный и своеобразный из них. Бывший зэк, интеллигент, видимо из старой хорошей семьи, выбившийся в первые ряды. Начальник. Похоронивший прошлое. Ловкий. Умелый. И лишь в роковой момент, когда перед ним зверь из бездны, который грозит столкнуть в бездну, в бездну опять, – оживает давно прошедшее – Агния, церковь Великомученика Никиты.

Глава "Церковь Никиты-Мученика" (изд. "Посев", том третий, стр. 172-183) по существу вводная новелла. Ее можно напечатать отдельно. И снова шедевр.

Лирический рассказ. Чудесный образ русской религиозной, строгой девушки Агнии.

Я знал таких девушек. Они появились в двадцатые годы, когда присоединение к Церкви означало преследования, конец карьеры и в ближайшем будущем исповедничество (ссылка) и мученический венец.

Роман Агнии с Антоном Яконовым — знамение времени. Столкнулись два человеческих типа: умный, дельный, талантливый карьерист из "примазавшихся", как говорили в двадцатые годы, и русская идеалистка, романтичная девушка. Идущая на подвиг. На подвиг религиозный. Чистая и пламенная. Невеста Христова.

В древней Руси такие шли в монахини, из них вырастали святые — Ефросиния Полоцкая, Анна Кашинская, боярыня Морозова, княгиня Урусова.

В XIX веке их звал гражданский подвиг: жены декабристов — Волконская и Трубецкая, — девушки-народницы: Вера Фигнер, Софья Перовская, Вера Засулич, Брешко-Брешковская (не всегда же она была "бабушкой" — была когда-то и доченькой русской революции — генеральская дочка).

В двадцатые годы — снова церковь. Единственное незатемненное, незапятнанное. Там, где Христос и Пречистая Матерь Божия.

Русский писатель нашел изумительные краски, чтобы показать старую церковь московскую, на пригорке во время всенощной. И потом ту же горку и на ней развалины чудесного храма.

И Яконов на этой горке, старый, опустошенный, все давно забывший. А где Агния? Погибла в

лагерях? Или, быть может, уцелела где-нибудь в катакомбах? А может быть, и в настоящем монастыре – в Пюхтицах, в Риге – в эмиграции, куда она попала во время войны? Быть может!

Надя! Простая русская женщина. Хорошая, любящая. И всего боящаяся. Вынужденная все и от всех скрывать. И еще одна девушка. Работница Гулага. Так искренно полюбившая Нержина. Так самоотверженно бросившаяся ему навстречу. Так горько плачущая, когда он ей ответил отказом. И все это на фоне паршивой лагерной, тюремной действительности.

Стукач Руська. В общем хороший русский парень. В прежнее время был бы себе приказчиком в одном из русских приволжских городков. А потом вэшел бы в купчики.

И другие стукачи. И заключенные, заключенные, заключенные. Хорошие, скромные русские люди. Страдающие Бог знает зачем и почему.

Об этом думал Солженицын – великий писатель Земли Русской. Об этом думаю и я с детства.

Я, странный человек, сумасшедший парень, сумасшедший мужик. Теперь сумасшедший старик.

Полуписатель, полудиакон, полумонах.

"Брожу в стенах монастыря,
Безрадостный и темный инок.
Чуть брезжит бледная заря, –
Слежу мелькание снежинок.
Ах, ночь длинна, заря бледна
На нашем севере угрюмом.
У занесенного окна
Упорным предаюся думам.

А. Блок

И другая редакция. Не увидевшая свет в России, опубликованная на Западе.

Здесь сюрпризы. Иннокентий Володин, оказывается, не спасал старого маминого друга-профессора. У него были другие цели: он звонил в американское посольство, чтобы сообщить о том, что секрет атомной бомбы раскрыт (точнее, украден) советскими агентами. И говорил не с женой профессора, а с военным атташе Соединенных Штатов.

Писатель, видимо, думал, что это усиливает впечатление. Наоборот, ослабляет.

Прежде всего, неправдоподобие. Не может быть, чтоб дипломат был настолько наивен: не понимал бы, что звонок в посольство не останется незамеченным.

Далее. Он мог бы догадаться, что за дипломатом, который должен через несколько дней уехать за границу, ходят по пятам. Подозрительно уже то, что он, дипломат, окруженный со всех сторон телефонными аппаратами, идет звонить по телефону-автомату.

Далее. У него, профессионального дипломата, должна быть уйма знакомых в дипломатических кругах. В том числе и среди американцев. Можно найти и другие способы о чем-то сообщить атташе. Тем более, что он владеет тремя иностранными языками.

И наконец, самое главное: все это значительно ослабляет впечатление от тиранического характера советского строя. Ведь за такую штуку (раскрытие военной тайны должностным лицом — сообщение ее атташе враждебной державы) и в лю-

бой другой стране по головке бы не погладили. В том числе и в Америке.

Быть может, Александр Исаевич слышал, как казнили в 1953 году в Штатах супругов Розенберг за выдачу СССР военных секретов. И это несмотря на то, что за Розенбергов заступались многие. В том числе и Римский Папа.

Ничего не помогло: они оба окончили жизнь на электрическом стуле. А вина их была меньшая, чем Володина: они ведь не были должностными лицами и не обязаны были хранить военные секреты.

Поэтому каноническая редакция вызывает гораздо больше симпатии к Володину и сочувствие к его судьбе.

Наконец, политическая проницательность молодого дипломата оставляет желать лучшего. Он считает, что если Советский Союз получит атомную бомбу, он немедленно начнет войну. С тех пор прошло уже 33 года (действие происходит в 1948 году) Советский Союз имеет огромный арсенал водородных бомб – и войны не начинает. Стоило бросаться в такую панику и так рисковать собой? (Тем более, что и так было ясно, что Советский Союз через год-два секрет атомной бомбы откроет).

И главы о Сталине.

Прибавлен ряд страниц из первоначальной редакции (стр. 115-149. Собр. сочинений, т. I. ИМКА-пресс, 1978 г.).

Увы! Это тоже отнюдь не лучшие страницы в творчестве писателя. Вдруг – ни с того, ни с сего полный курс истории коммунистической партии.

Конечно, чтоб как можно более унизить Сталина. Что можно сказать про эти страницы?

Есть у актеров такое выражение: "слишком лобовой подход". Так и здесь. Типичная агитка.

И как во всякой агитке, уже с первых слов ясно, что будет дальше. Автором движет ненависть. Сталин – незаконнорожденный. Карьерист уже в 17 лет. Это, конечно, верно. Но ведь доказательств никаких. Далее – Сталин-провокатор. Это, конечно, не исключено. Но доказательств опять никаких. Все высосано из пальца.

Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, – все точно по "Краткому курсу ВКП (б)", – но все наоборот.

Как-то одному профессору богословия, который в 20-е годы "сменил квалификацию" – стал читать "диамат" – задали вопрос: не трудно ли ему?

Ответ: "Что вы? Я ведь только сменил знаки: там, где я раньше ставил плюс, я ставлю минус, и наоборот".

А. И. Солженицыну тоже, верно, было нетрудно писать в лагере эту главу: просто вспомнил старые конспекты, которые он вел в техникуме и в институте во время занятий по истории партии, и переставил знаки, – получилось так же скучно, примитивно и неубедительно, как в Кратком Курсе.

Поражает своей надуманностью также глава о тверском дядюшке Иннокентия. Прежде всего непонятно, зачем молодому преуспевающему дипломату, чтобы познакомиться со старыми газетами, надо избирать такие окольные пути – ехать в тверское захолустье. Ему как привилегированному человеку

и так открыт "спецхран" во всех библиотеках Советского Союза. Даже автор этих строк, будучи не дипломатом, а всего лишь ничтожным аспирантом, находил дорогу в "спецхран". Что уж говорить о преуспевающем дипломате, так или иначе апробированном КГБ.

Не вызывает особого доверия также история тверского дядюшки. Что старую интеллигенцию зверски истребляли по тюрьмам и лагерям, совершенно верно. Но если интеллигент оставался на воле (как дядюшка Иннокентия), он обычно всегда мог пристроиться на какую-нибудь "беспартийную" должность: учителем, библиотекарем, "делопутом", а если он имел специальность – и говорить нечего: юристы, инженеры, врачи без дела никогда не сидели. Это не ахти что, но все-таки от жен-уборщиц они не зависели и в лачугах не жили.

Но есть ряд страниц, которых нет в канонической редакции, представляющие интерес.

Развернем книгу на одной из них.

Вот говорит итнеллигент, старый инженер:

"На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели. Их нет. На Руси были священники, проповедники, самозванные домашние богословы, еретики, раскольники, – их нет. На Руси были писатели, философы, экономисты, – их нет. Наконец, были революционеры, бомбометатели, бунтари – нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках (когда это крестьяне ездили на тройках? Разве что на картинках – А.Л.), лихие казаки, вольные бродяги – никого, никого их нет". (А. Солже-

ницын, том II, стр. 245-246. ИМКА-пресс, 1978 г.).

Да, так казалось многим в 1948-49 годах.

А теперь?

Консерваторы? Те, кто вздыхает по старой Руси, преклоняется без разбора перед действительно интересной фигурой Петра Аркадьевича Столыпина и находит что-то положительное даже в такой вонючей мрази, как Марков Второй, шарахается даже от Милюкова, – разве не консерваторы?

Реформаторы? Их много. Андрей Дмитриевич Сахаров – величайший из них.

Государственные деятели? К несчастью, пока что есть. И несть им числа. От Брежнева и Суслова до всяких других "Громык".

Священники, проповедники? Отец Димитрий Дудко, отец Глеб Якунин, отец Александр Мень.

Самозванные домашние богословы? Здесь настал черед гаркнуть, как на перекличке, Вашему покорному слуге: "Есть", став в ряд со старым другом и оппонентом отцом Сергием Желудковым по правую руку и с Евгением Барабановым – по левую.

Еретики-раскольники? Сколько их.

Писатели? Максимов, Аксенов, Войнович, Владимов, и т.д., и т.п.

Философы, социологи, экономисты, – этих, пожалуй, покамест маловато. Подождите годков пять – появятся.

Революционеры, бомбометатели, бунтари?

Бомбометателей как будто нет (покамест!) А революционеры, бунтари? Половина нашей молоде-

жи – потенциальные революционеры и уж во всяком случае бунтари.

Как приятно слышать пессимистические прогнозы, когда они не осуществились. Впрочем, не всегда приятно. Вот, например, ”бродяги”. Этих сейчас на Руси столько, сколько, пожалуй, никогда не было. Грязные, вшивые, пьяные. Злые и добрые. Старые и молодые. Грустные и веселые.

Сколько перевидел я их и на Кавказе, и в Тверской области, и в Поволжьи, и в Москве за последние годы пребывания в России во время кочевья по тюрьмам и лагерям.

Сколько я их видел и дружил со многими.

Старая и вечно молодая Русь.

”А месяц будет плыть и плыть,
Кидая весла по озерам.
А Русь все будет так же жить,
Плясать и плакать под забором”.

Недаром самым любимым поэтом на Руси является до сей поры Сергей Есенин.

ДРАМА И ИСТОРИЯ

Белинскому принадлежит крылатая фраза о сродстве истории и драмы. Драма в искусстве, – говорит он, – то же, что история в науке. И тут и там – человек. И тут и там – динамика, стремительность. И тут и там – ”бремя страстей человеческих”.

И в творчестве Солженицына – рука об руку идут драма и история. Он и начал с драмы. Как известно, пьеса "Пир победителей" – начало его творчества. Впоследствии он много раз отрекался от этой первой в его жизни "пробы пера", ссылаясь на то, что эта драма написана в лагере, под первым впечатлением драконовского приговора. И только сейчас сделал известной пьесу широкой публике.

Правдива ли эта пьеса? Увы! Правдива. И сам Сталин не мог отрицать, что "торжество победителей" принимало часто весьма гнусный характер. В разговоре с Джиласом знаменитый мастер софизмов даже привлек к себе на помощь... Достоевского:

"И эту армию оскорбил никто иной, как Джилас! – говорил Сталин. – Джилас, от которого я этого меньше всего бы ожидал... Знает ли Джилас, который сам писатель, что такое человеческое страдание и человеческое сердце". (Мерзавец! Ему ли, извергу, говорить о человеческих страданиях – А.Л.).

Разве он не может понять бойца, прошедшего тысячи километров сквозь и огонь и смерть, если тот пошалит с женщиной или заберет какой-нибудь пустяк (Милован Джилас: "Разговоры со Сталиным", стр. 91. "Посев", 1976 г.).

И далее: "Да, Вы, конечно, читали Достоевского! Вы видели, какая сложная вещь человеческая душа, человеческая психология?

Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда – тысячи километров по своей опустошенной земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой че-

ловек может реагировать правильно? И что страшного в том, что он пошалит с женщиной" (там же, стр. 105).

Мы приводим эти два высказывания "великого вождя", ибо они целиком относятся к Солженицыну.

Что мог бы ответить на это "Исаич"?

На обвинение в оскорблении армии он мог бы сказать словами Каренина: "Оскорбить можно честного человека и честную женщину, а сказать вору, что он вор, это значит констатировать факт".

А по поводу ссылки на Достоевского можно было бы вспомнить, что Достоевский прежде всего призывал к покаянию, к очищению, к нравственному обновлению, а не к тому, чтобы оправдывать дикие зверства и массовые изнасилования женщин.

Нет сомнения в том, что пьеса "Пир победителей" лишь чуть-чуть приоткрывает завесу над кошмарными насилиями, творившимися в "стране поверженных" озверелыми солдатами, которых подуськивали "политруки" и "комиссары" и которым подавало пример высшее офицерство.

Фашистское, нацистское офицерство было еще большим зверьем?

Да, но при чем здесь мирное население, а затем – разве надо было им обязательно во всем подражать?

В пьесе Солженицына показано, что зверствовали не столько боевые офицеры, сколько "комиссарье", – самая трусливая и самая гнусная часть командного состава армии.

Правда, здесь есть Майков – боевой офицер,

который принимает участие в "пире победителей" и даже является инициатором истории с "зеркалом", на котором происходит пиршество. Но жестокость, хамство ему не свойственны.

Перед ним, как и перед Нержиным, витают гумилевские образы. Они оба цитируют стихи Гумилева, что, кстати сказать, не очень правдоподобно, поскольку речь идет о советской офицерне. Здесь впервые мы встречаем Нержина, alter ego автора, который играет в пьесе благородную роль, спасая гонимую женщину. И рядом с ними (с Нержиным и Майковым) хам, шкурник и трус Гриднев, старший лейтенант, уполномоченный контрразведки – "Смерша". И тут же жестокая, жадная до денег "мать командирша" Глафира.

Солженицына упрекают за клевету на советскую армию. Его скорее можно упрекнуть за идеализацию армии. На самом деле все делалось еще более гнусно, еще более жестоко, еще более грубо.

И советские офицеры не цитировали Гумилева, а крыли матом, грабили, отнимали последнее, убивали женщин и детей. Хотя, конечно, русское добродушие и русская жалостливость иной раз смягчали советскую жестокость.

"Пир победителей" – драма в стихах. Это придает пьесе романтическую приподнятость, некоторый "шиллеровский" колорит.

Нержин с его рыцарским отношением к женщине, добродушный, симпатичный Майков, не такой уж плохой командир Бербенчук. В общем получается, что единственным законченным мерзавцем является Гриднев, что ему как "смершевцу" и по штату

положено. Известно, из каких выродков формировался "Смерш".

Примерно в это же время, в лагере, заключенный ("зэка", как нас называло начальство), зэка Солженицын пишет другую пьесу: "Пленники".

Что можно сказать об этой пьесе?

Автор не задается целью создать колоритные, запоминающиеся образы. Правда, и здесь мелькают лица наших знакомых: Нержина и Рубина. Но именно, только мелькают. Зато читатель или зритель видит перед собой дьявольскую карусель, начавшуюся сразу после войны. Миллионы бывших пленных, вернувшихся или возвращенных на родину. И далее. Тюрьмы, допросы, состоящие из матерщины, побоев, угроз, и протокол, заготовленный заранее для всех в одинаковых выражениях. Приговор суда или постановление ОСО. Этап. Лагерь. И так без конца, без конца, без конца.

И Нержин – Солженицын в этой дьявольской карусели.

Обалделый, оторванный, оглушенный.

И все-таки хочется ему в чем-то разобраться, что-то понять, что-то увидеть по-новому, пересмотреть.

И вот пьеса "Пленники". Читаю ее и вижу, как она рождалась: на нарах, в вонючем бараке, среди лагерного гвалта... Сидит этот странный человек, одетый в лагерное тряпье, с глубоким шрамом на лбу, и сочиняет. Записывает карандашом, потом, уставясь в одну точку, что-то соображает, сидит задумавшись – и опять пишет. Из всего, созданного Солженицыным, пьеса "Пленники" наиболее лагер-

ная. В ней запах лагерной махры, едкий запах бараков...

Странно читать карандашные записи лагерника, напечатанные на хорошей, глянцевитой бумаге, обернутые в великолепный коричневый переплет.

Все действующие лица в пьесе – маски. Все тот же лагерник Солж.

Рукой лагерника написана и главная сцена – кульминационный пункт пьесы – разговор Воротынцева с Рублевым.

Если пьеса будет поставлена (или, может быть, уже и появилась где-нибудь в Америке), жалею актеров. Сыграть это правдоподобно немыслимо. Ситуация невозможная. Старший следователь Рублев смертельно болен, ему остается жить неделю. Он беседует с приговоренным к повешению Воротынцевым. Угощает его ужином. Ведет с ним мировоззренческий разговор. Предлагает Воротынцеву сейчас за ужином совместно принять яд. Воротынцев отказывается.

Сцена задумана в шекспировском плане. Сложная психология по Достоевскому.

Но автор не Шекспир и не Достоевский.

Читатель остается холодным. Но если герои пьесы и вся ситуация не удались автору, то столкновение мировоззрений в пьесе представляет большой интерес.

Воротынцев, бывший белый офицер (полковник), ныне приговоренный к повешению, приводит пример – множество молодых советских людей, которые пошли в армию Власова:

"Воротынцев. Довольно было одного дунове-

ния свободы, чтобы с русской молодежи спало ваше черное колдовство. (Гм! Гм! Это где же дуновение свободы? В гитлеровских лагерях для военнопленных? – А.Л.). Вы поносили первую русскую эмиграцию, что она корыстна, что она не хочет понять передовых идей. Пусть так. Но откуда же теперь *вторая* русская эмиграция – миллионы простых ребят, отведавших двадцать четыре года нового общества и не желающих вернуться на родину...

Но отчего все-таки *они* не поняли ваших передовых идей? Я замечаю – плевать им на ваших основоположников!

Рублев. И на ваших святых тоже! Зачем им наши идеи? У них свои идеи: подработать *по левой*, хапнуть, что плохо лежит – и все. Это пропить и с бабой проспать .

Воротынцев. В конце концов – естественное желание: они хотят просто жить, наконец .

Рублев. Ну вот это трезво, вот мы и договорились. А то...

Воротынцев. А вы не даете им жить!"

(Солженицын. Собрание сочинений, т. 8, стр. 231-32. Вермонт-Париж, 1981 г.).

Здесь проклятый вопрос проклятой бабы. Истории. Отчего произошла революция? Кто ее сделал? Чего хочет народ теперь?

Далее Воротынцев вынужден признать слабость белого движения, то, что всегда и всюду оно заходило в тупик. Один из героев в другом месте называет имена советских вождей нерусской национальности: Троцкого и Томского. Намек явный. Октябрьская революция была навязана русскому

народу. Здесь предвосхищение "Ленина в Цюрихе", где черным по белому будет написано, что виноваты во всем Парвус и лишь на четверть русский Ленин. Бабушка Ленина, мадам Бланк, вот, оказывается, кто во всем виноват. Угораздило ее выйти за немецкого еврея. Но на такой ответ даже малый ребенок рассмеется.

Чем же в самом деле победили большевики? *Мечтой*. Русский человек – мечтатель. Конечно, не только русский человек. Но русский – по преимуществу. Где еще были тысячи самосожженцев, странников, страстных искателей правды? Вся русская литература, весь русский фольклор проникнуты мечтой о правде, о справедливой духовной жизни. Недаром исстари любимыми героями русского народа были Мария Египетская и Алексий Божий Человек. И любимый русский святой – Николай Угодник. Суровый ревнитель справедливости. Мечта о справедливости, о полном, конечном торжестве правды.

Мы оставляем сейчас в стороне конкретные политические причины, вызвавшие революцию: война, усталость народа, полное бессилие правительства.

Но потом. В течение 4-х лет, когда русские простые люди, почти безоружные, голодные, вшивые, лили кровь, отстаивая советскую власть (кто может это отрицать? Ими двигала мечта о правде, о справедливости. И во главе стояли кремлевские мечтатели: Ленин, Троцкий, Бухарин и другие. Сталины не играли тогда никакой роли: их никто не знал и никто не видел.

А что было потом? Потом, как говорит Брюсов: "мечта обманула, как всякая мечта". И чудесный, таинственный, исконный Китеж-град обернулся бюрократическим, трухлявым государством. И отсюда цинизм, безразличие, духовное банкротство.

И все идет по инерции. Так будет продолжаться, пока не придет новая мечта, новый свет, новая заря, за которой пойдет русский народ.

Этот народ, жестокий и нежный, эгоистичный и самоотверженный. Чудесный, чудесный русский народ.

* * *

История сложная, очень сложная, путаная, капризная баба, которая сама не знает, что хочет.

Солженицын хочет ее понять.

И вот, перед нами начинает раскатываться "красное колесо". Роман "Август 14-го". Первый из этой серии.

Как говорят, А.И. Солженицын сейчас полностью переработал роман, а также в ближайшем будущем собирается выпустить два следующих тома своей эпопеи.

Ожидая с нетерпением, как и все читатели, появление в свет этих трудов, мы будем пока анализировать тот роман, который мы имеем, столь же добросовестно и беспристрастно, как остальные произведения Солженицына.

ИСТОРИК

1972-73 годы

Снова Солженицын. "Август четырнадцатого".

Об этом романе, появившемся в 1971 году в ИМКА-пресс, много писали.

Еще Белинский писал об "обаянии имен". Он приводит пример. "Повести Белкина". Напиши это Булгарин, — он бы подумал: да уж действительно, не великий ли человек Фаддей Венедиктович, но стоит имя "Пушкин" — и отсюда разочарование.

Вероятно, если бы на обложке не были имени Солженицына, я прочел бы роман по-другому.

Перечитал его сейчас по-другому. Надо сказать, великолепный роман. И конечно, ни один человек, интересующийся русской литературой, трагической эпохой русской жизни, начавшейся в 1914 году, не может пройти мимо него. И в то же время дающий материал для споров. Длительных споров.

Начало романа. Великолепная картина северокавказской природы:

"Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. И все люди, сколько жили за тысячелетия, доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми гру-

дами складывай все сработанное ими и даже задуманное – все равно не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта" (А. Солженицын, "Август четырнадцатого", ИМКА-пресс, 1971, стр. 9).

Всего два абзаца. И тут же хочется спорить с автором.

Первые строки великолепны.

На уровне Гоголя. И "зоркое утро", и "при первом солнце", и "нерукотворный в мире сделанных". И точка. И тут же вычур. Дурной вкус.

"Доотказным раствором рук своих". Раствор бывает краски, синьки, лекарства, но не рук. И в какой-то степени это символично. Страницы огромной впечатляющей силы, необыкновенной убедительности – и вдруг какой-то спад, – Сергеев-Ценский, Алданов, Федин, – это тоже очень много (все писатели большого таланта), но ведь, во-первых, не ново, а затем от Солженицына мы привыкли ожидать художественных откровений.

Семья Ложеницыных. Великолепная реалистическая картина. Сочные образы. Великолепный образ Исаакия Ложеницына – толстовца. Народника.

"Народников давно уже в России не было, но Исаакий, хоть никогда б не осмелился так представиться вслух, а понимал себя, пожалуй, именно народником – тем, кто учение свое получил для народа и идет к народу с книгою, словом и любовью". (Там же, стр. 11).

"Народников в России давно уже не было". Но тем не менее народничество оставило такую глубокую колею в России, что его веяние до сих пор. И в четырнадцатом году, и в семнадцатом, и теперь.

Народничество (самоотверженное хождение в народ, стремление к народу, жизнь для народа — основа русской жизни, надежда России, ее главный движущий стимул). И отсюда Лев Толстой. Встреча Сани Ложеницына с Толстым — шедевр. Это место так и просится в хрестоматию. Просто не верится, что это выдумано. Да может быть, и не выдумано. В семейных преданиях, которые слышал Исаич от матери, возможно, сохранились воспоминания о встрече его отца с Толстым. Уж очень это по-толстовски:

"Еще свои заботы не ушли с борожденного стариковского лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Но из-под бровей мохнатых твердо посмотрев, бесколебно ответил старец, всей жизнью проверенное, выношенное:

— Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.

И — кажется не хотел больше говорить". (Там же, стр. 23).

И уж очень по-толстовски звучит сентенция о стихах:

"— Отчего вам так может нравиться, чтобы слова расставлялись как солдаты и перекликались по звукам? Ведь это же — побрякушки. Это не натурально. Слова призваны выражать мысли! — а много вы встречали мыслей в стихах?" (Там же, стр. 24).

Да, это Толстой. Тот самый, который отрицал Шекспира, называл собственные романы "глупыми побасенками, которыми он тешил себя и других". Терпеть не мог стихов — знал Тютчева и Фета наизусть. Отрицал искусство — был тонким ценителем

музыки: улавливал у пианистов мельчайший неверный нюанс. Ненавидел театр – создал пьесу ”Живой труп”, по которой до сих пор помрежи (помощники режиссера) изучают технику сцены.

Отрицал церковь – создал лучшее описание таинства брака, которое когда-либо было в мировой литературе.

Это Толстой! Никто еще не создал такой верный и сходный его портретный образ. Никто не описал его так точно и четко.

А ведь это Толстой, о котором написаны десятки тысяч воспоминаний, рассуждений, диссертаций, статей на всех языках мира.

Толстой – это у Саши в прошлом, хотя и в недавнем прошлом. А сейчас 1914-й. Война. Что сейчас? Сейчас разговор с Варей. Курсисткой. Она – прогрессистка. Революционерка. Она пораженка.

А ои идет в армию добровольцем. Тысяча упреков. Ренегат. Забыл Лаврова, Михайловского, Толстого.

И на все один ответ:

”Саня кивнул. Улыбнулся стыдливо:

– Россию... жалко...

Урчала, гудела, уходила вода из озера!

– Как – Россию? – ужалилась Варя. – Кого – Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?

Саня не отвечал, ему нечего было ответить. Но – слушал. Но под хлестом упреков нисколько не ожесточался: он на каждом собеседнике себя проверял, это всегда так.

– Да разве у вас характер –для войны? – под-

хватывала Варя все, что только можно было, под рукой.

В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей его, критичней – но от этого только холод утраты сжимал ее.

– А Толстой! – нашла она еще, последнее. – Что сказал бы об этом Лев Толстой – вы подумали? Где же ваши принципы? Где же ваша последовательность?

На загорелом Санином лице под пшеничными бровями, над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе неуверенные глаза. Ничего он не нашелся сказать. Только, плечи чуть подняв, чуть опустив:

– Россию жалко..." (там же, стр. 17-18).

Это очень глубокое место.

"Россию жалко". Только русский человек это может понять, может почувствовать. Недаром по-русски: любить – жалеть. Именно этим чувством пропитано гениальное тютчевское:

"Эти нищие селенья.
Эта скудная природа..."

Кстати, вот уж Толстой никак не мог бы сказать, что в этом стихотворении "мысли нет" – какое уж тут "мысли нет"! Вся Россия в этом стихе. Россия в прошлом, настоящем и будущем. Чудесная, дикая, пьяная, добрая – и всегда несчастная, – Россию жалко, жалко до слез. Вероятно, так бы ответили Варе и Лавров, и Михайловский, и сам Лев Толстой.

Затем имение. Семья цивилизованных купцов. Наполовину цивилизованных.

И сразу какой-то спад. Немного отдает Горьким ("Дело Артамоновых", "Егор Булычев", "Достигаев"). Но Горький лучше, много лучше знал купецкий быт. И все у него более сочно и рельефно.

Причем в некоторых деталях просто неграмотность. Ну вот, например, такая фраза: "Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться" (там же, стр. 28).

К сведению Солженицына, даже если бы он дал архиерею не сорок, а восемьдесят тысяч, все равно ничего бы не вышло, потому что от архиерея ровно ничего не зависело. Брак мог быть расторгнут только Синодом (точнее синодальными чиновниками). Причем единственная причина развода – прелюбодеяние одного из супругов, подтвержденное непосредственными свидетелями (бездетность не являлась причиной для расторжения брака).

Далее: виноватая сторона лишается возможности вступить во второй брак. Следовательно, тестю Романа надо было бы заплатить 40 тысяч не архиерею, а собственной жене, чтобы она дала себя уличить в прелюбодеянии, а затем подкупить свидетелей, ну и "подмочить" синодальных чиновников (это, впрочем, не обязательно).

Такие мелкие неточности встречаются у Солженицына довольно часто.

Самый быт купецкой семьи описан довольно тщательно, имеются колоритные детали (например, старик, который плюет своей жене при всех в физи-

ономию, а она только утирается), но здесь впервые выступает коренной недостаток Солженицына, который связан, как мне кажется, с его личным качеством.

Солженицын – индивидуалист, индивидуалист в глубочайшем смысле этого слова. Недаром в основных его романах всегда присутствует он сам (Оглоед, Нержин). Перевоплотиться в человека иной среды, почувствовать эту среду, плавать в ней, как рыба в воде, – это ему не всегда удается. Поэтому образы купцов: Романа, его родителей, жены и сестры – стандартны. Они сделаны по мольеровскому методу (и еще хуже – по рецептам соцреализма): старики ворчливы, хищники, хамы. Роман – цивилизованный хам. Женщины изнежены, мечтательны, не удовлетворены жизнью.

Так это и бывало. И часто.

Но, как говорит у Достоевского следователь: "Почему же все одно и то же снится. Ведь могло бы же и другое".

Здесь совершенно неожиданно у замечательного писателя схема, стандартные образы.

И отсюда разница.

Ивана Денисовича не забудет ни один человек, который читал повесть. Роман, его жена и его сестра забываются тотчас, потому что таких романов мы встречали уйму у писателей-демократов. Не только у Горького. Горьковские образы все-таки не забываются. А и чином пониже: у Скитальца ("Семья Черновых"), у Серафимовича ("Город в степи"), у Найденова ("Дети Ванюшина") и т.д. Что-то и от Мамина-Сибиряка.

* * *

И наконец война. Фронт.

Некоторые ретивые критики упрекали Солженицына за подражание Толстому. Дескать, параллельные линии. Кутузов – Самсонов. Болконский – Воротынцев. И солдатня, народная стихия.

Обвинение несостоятельное.

Кто ж ему виноват, яснополянскому. Так обрисовал войну. Так глубоко вник в психологию солдатни и офицерни, и полководцев, что после этого решительно все, все, кто пишет о войне, его повторяют, ему подражают, его перефразируют. Конечно, и Солженицын этого не избег.

Беда в другом. В неумении полностью раскрыть образ. Болконский ясен для читателя целиком и полностью; Воротынцев так и остается не вполне ясным. Впрочем, может быть, потом раскроется – время есть. Ведь жить ему до 40-х годов. 30 с лишним лет.

Но солдаты великолепны. Великолепны, но однобоки. Когда Солженицын рисует офицерско-солдатскую дружбу, которая выковывается в боях, это правда. Глубокая правда. Знаю я ее.

Вот, например, в Москве в тридцатые годы, на Большой Спасской 15, кв. 2, жил скромный учитель математики Владимир Николаевич Заозерский (из поповичей). И имя, и фамилия, и адрес – все подлинное. В войну был офицером из вольноопределяющихся. И через 40 лет заходил к нему его бывший денщик. Гостил у него. Бывало, сидит у него на кухне (коммунальная квартира). Разговаривает с сосе-

дями. Вдруг крикнет Владимир Николаевич из комнаты: "Федор!" Сейчас же вскочит и бежит, как будто ошпаренный. И была между стариками дружба и субординация. Субординация и дружба. И видимо, не зря. Заставило же что-то старика Федора почти через 40 лет специально приезжать в Москву из деревни и сидеть у учителя математики на кухне. А того беседовать с ним часами.

Но было, конечно, и другое. Вспоминаю я другого учителя Виктора Ивановича Попова. Царство ему Небесное! Хороший человек был. И замечательный учитель. Химию преподавал. Мастер своего дела. Этот рассказывал, как однажды их полк во время войны дислоцировался в Польше. В местечке, где графский замок. Дивизионный генерал у графа гостил. Вдруг пожаловалась генералу графиня, что какой-то солдат весь сад у них оборвал. Ни одного яблочка не оставил. Прогневался генерал: велел разыскать виновного. Оказался солдатик,татарин из роты Виктора Ивановича. Вызвал генерал молодого поручика с университетским значком (из вольноопределяющихся), распек за то, что солдат распустил, и приказал: "Высечь виновного". (Во время войны особым приказом введены были розги). Виктор Иванович с генералом в спор. Но генерал непреклонен: "Извольте слушать и исполнять, а не рассуждать. Тут вам не университет".

Осталось сказать: "Слушаюсь!"

И исполнять.

Собрал роту. Спрашивает: "Кто из вас знает, как секут розгами?" Интеллигент не знает. "Тоже мне бином Ньютона", – как говорит один тип у

Булгакова. Унтер вызвался: "Я знаю, Ваше благородие, я в конвое тюремном служил". И приказ был приведен в исполнение.

Эта дифференциация офицерства очень чувствовалась в армии. Поэтому одних офицеров потом поднимали на штыки, а других любили, выбирали в солдатские комитеты, посещали на дому через сорок лет.

Этой дифференциации Солженицын не показал. Как не показал и различных офицерских и солдатских типов. Показаны в основном лишь двое: Воротынцев и Благодарев.

Великолепная пара. Все время вместе – в бою, на привале, во всех военных приключениях. В общем, немного, несколько дней, но кажется, век прожили бок о бок. Эти несколько дней их сблизили так, как не могли бы сблизить 20 лет "в миру", говоря по-монашески, как 20 лет "на гражданке", говоря советским языком.

Солженицыну удалось великолепно показать военную солдатскую дружбу. Без слюнтяйства, без сюсюканья, без сентиментальности, без фамильярности. Любой русский солдатик скажет ему: "Спасибо!"

И вообще есть за что сказать спасибо. Вот, например, великолепные слова, в которых содержится оправдание военной службы: "Мы в повседневной жизни, всегда руководствуясь соображениями своей сохранности, оставляем в стороне эту загадку профессиональных военных и других людей долга (как будто не из нас же получаются такие люди при твердом воспитании): как неуклонно они переходят в

неестественную способность умереть и в самую смерть, такую преждевременную и постороннюю им по планам их жизни. Как это: человеческое существо перестает отвергать смерть? Всегда во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа" (там же, стр. 353).

Здесь Александр Исаевич формулирует тот момент, в котором военный подвиг смыкается с христианством.

Уже не раз указывали, что война (организованное убийство) несовместима с христианством. Но есть другой аспект. Война как самопожертвование, как подвиг. Человек в оборонительной борьбе отдает свою жизнь за других.

"Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя" (Иоанна 15, 13).

Вся августовская военная эпопея по существу как бы иллюстрация этих евангельских слов. Солженицыну удалось уловить тот боевой дух, который захватывает армию, несет ее навстречу опасности, когда люди идут на смерть, совершенно забывая о себе и о своих близких и решительно обо всем. Этот порыв не может длиться долго, – это мгновенно, это скоропалительно. Человек себя в этот момент не помнит, он весь в состоянии вдохновения, просветления. Все сливается у него в одно.

Один старый солдатик рассказывал мне, как во время перестрелки запечатлелся у него образ пожилого немецкого солдата, с которым он обменивался выстрелами. У солдата в зубах трубка. Запомнилось, как в бреду. И вот, через несколько дней

мой солдатик (Кольцов его фамилия) полез за голенище. И вдруг увидел – там трубка. И тут понял: от того солдата, убитого им.

В ту войну было много таких моментов. Отец Георгий Шавельский, всю войну проведший частью в ставке, частью на фронте, рассказывает:

"Замечательный подвижник этот русский солдат! Каждый поручик мог вернуться с войны генералом; никому не известный до войны офицер мог сделаться знаменитым полководцем. Для солдата же высшей наградой могло быть: остаться живым и здоровым и вернуться к семье. И этой возможностью, этой мечтой он должен был жертвовать в каждую минуту своего пребывания на фронте. У офицера на войне одним из стимулов могло служить и честолюбие; у солдата – почти исключительным – совесть. Как же глубока и прочна была солдатская совесть, когда наш дореволюционный солдат бескорыстно, терпеливо и самоотверженно переносил все ужасы войны, прощая окупаемые солдатской кровью многие ошибки старших и покорно умирая за других. Одним из первых дел революции было то, что у солдата засорили его совесть, внушив ему, что нет Судьи человеческой совести, т.е. Бога, что он должен жить для себя, а не для других, помнить о земле и забыть о небе" (Георгий Шавельский, "Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота", том второй, Нью-Йорк, издательство им. Чехова, стр. 277).

К этому надо прибавить, что ведь никто из русских солдат (деревенских, часто совершенно безграмотных парней) понятия не имел, из-за чего

ведется война, где находится Сербия, Сараево, Константинополь и т.д.). Часто бросают русскому солдату упрек, почему он не захотел воевать в 1917-м. Скорее наоборот: можно удивиться, что он воевал (и как воевал!) 3 года.

А за что? Никто этого не знал и не понимал. И тем более почетен и светел подвиг русских солдат, которые, не зная и не понимая, сделали великое дело: спасли Европу от тевтонов.

А.И. Солженицын нашел яркие краски, чтобы увековечить подвиг русских солдат.

* * *

Наиболее впечатляющ в романе день 15 августа 1914 года.

Начало. Главнокомандующий армией генерал Самсонов. Ночь. Предчувствие.

И тут какой-то прорыв в ткани романа. Неожиданность. Дуновение гения.

"Как всегда в бессоннице, очень быстро, беспощадно утекало время. А запоминалось и словно не двигалось до следующего посмотрения – то, которое ты последний раз видел. Отщелкивая ногтем двойную крышку часов, с тоской углядывал Самсонов на светящемся циферблате: четверть второго... без пяти два... половина третьего...

А в четыре уже будет светать.

Чтобы вернее заснуть, опять читал Самсонов молитвы – много раз "Отче наш" и "Богородицу".

Не виделось ничего. Но возле уха – ясное, с оттенками вещего голоса, а как дыхание:

– Ты – успишь... Ты – успишь...

И повторялось.

Самсонов оледел от страха: то был знающий пророческий голос, даже может быть над будущим властный, а понять его смысл не удавалось.

– Я – успею? – спрашивал он с надеждой.

– Нет, успишь, – отклонял непреклонный голос.

– Я – усну? – догадывалась лежащая душа.

– Нет, успишь! – отвечал беспощадный ангел.

Совсем непонятно. С напряжением продираясь, продираясь понять – от натуги мысли проснулся командующий.

Уже светло было в комнате, при незадернутом окне. И от света сразу прояснился смысл: успишь – это от Успения, это значит: умрешь.

Прилил пот холодный на яву. Еще струною дозвучивал пророческий голос. А – когда у нас Успение?

Голова сосредоточивалась: мы – в Пруссии, сегодня – август, сегодня – пятнадцатое.

И – холодом, и – льдом, и – мурашками: Успение – сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России – сегодня. Вот оно, вот сейчас наступает Успение.

И мне сказано, что я умру. Сегодня.

В страхе Самсонов поднялся. Сидел в белье, с ногами босыми, с руками скрещенными.

Дальний, но уже постоянный, хорошо слышался гул канонады.

И этот гул канонады возвращал Самсонову бодрость. И – ясность!

Солдаты уже умирали – а командующий боялся!

Куда ночь – туда и сон!"

("Август четырнадцатого", стр. 294-295).

Вот здесь Солженицын – Солженицын.

Этого не встретишь ни у кого: ни у Сергеева-Ценского, ни у Ремарка, ни даже у самого Льва Толстого.

И дальше русские люди в бою.

Сентенция крупными буквами: "Не рок головы ищет – сама голова на рок идет" (там же, стр. 299).

Великолепная страница. Размышления Воротынцева. Чем, во имя чего звать солдат на смерть?

"Уж конечно не "честь" – непонятная, барская. Уж конечно не "союзные обязательства", их не выговоришь. А призвать на смертную жертву именем батюшки-царя? – это они понимают, пожалуй и откликнутся, вообще за Царя – непоименованного, безликого, вечного. Но для самого Воротынцева не было такого безымянно-вечного царя, а этого царя, сегодняшнего, он презирал, стыдился его – фальшиво было бы им заклинать.

Тогда – Богом? Имя Бога – тронет их. Но самому Воротынцеву и кощунственно и фальшиво невыносимо было бы произнести сейчас заклинанием Бога – как будто Вседержителю очень было важно отстоять немецкий город Найденбург от немцев же. Да и каждому из солдат доступно догадаться, что не избирательно Бог за нас против немцев, зачем же их такими дураками ожидать?

И оставалась – Россия, Отечество. И это была

для Воротынцева – правда, он сам так и понимал. Но понимал и то, что они не очень это понимали, недалеко за волость распространялось их отечество – а потому и его голос надломило бы неуверенностью, неправотой, смешным пафосом – и только бы хуже стало. Итак, ОТЕЧЕСТВА он тоже выговорить не мог.

Речь – не сочинилась" (там же, стр. 328-329).

Вот и опять Солженицын. Реализм, не социалистический и не "критический", а просто реализм – правдивый, беспощадный и без всяких иллюзий.

И все-таки идут, идут в бой и умирают, а потом в лагере будут также работать.

"– Братцы! – раскинул руки и в землю врос. И широкость его и прочность увидел строй и ощутил. – Не корыстно нам спасаться за счет других. Нам до России недалеко, уйти можно –но соседним полкам тогда сплошь погибать. А после – и нас догонят, не уйдем и мы... Через силу вам, вижу, но тут, близко – во фронте дыра, нет никого! Пока раненых из города вывезут, пока обозы уйдут – надо загородить! Надо поддержать до вечера! Больше некому, только вам.

Вот так, не приказывал, не грозил – объяснил. И лица угрюмые, неуговоримые – вдруг просветлели все пониманием, сочувствием, едва ли не улыбками жалости, как бы подбитую птичку видя, – и не хотелось же! и ноги не шли попрежнему, и проклят был возврат! – а не словами полными, не встреченными взглядами, помня строй, но неразборчивым теплым мычанием, благожелательным ропотом отозвались" (там же, стр. 329-330).

И все пошли, никто не отстал.

Правдиво и хорошо! Далее все на том же уровне. Эпизод встречи с генералом Франсуа. Великолепный афоризм:

"Но с первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти что не на ком остановить автору благодарного взгляда. (И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями – да слишком много раз показал нам XX век, что именно они)" (там же, стр. 350).

Да, к сожалению, именно они.

Затем панихида над телом полковника, павшего в сражении.

И заключительный эпизод, как бы замыкающий всю эпопею отступления русской армии из Восточной Пруссии. Самоубийство генерала Самсонова. Чудесный эпизод. Вы как будто видите генерала, слышите его тяжелое дыхание. Вы с ним рядом.

"Привалясь к стволу, Самсонов постоял и послушал шум леса. Близкий шелест отрываемой сосновой кожицы. И – надверхний, поднебесный, очищающий шум. Все легче и легче становилось ему. Прослужил он долгую военную службу, обрекал себя опасности и смерти, попадал под нее и готов был к ней – и никогда не знал, что так это просто, такое облегчение. Только вот почисляется грехом самоубийство.

Револьвер его охотно, с тихим шорохом, перешел в боевой взвод. В опрокинутую фуражку на

земь Самсонов его положил. Снял шашку, поцеловал ее. Нащупал, поцеловал медальон жены.

Отошел на несколько шагов, на чистое поднебесное место.

Заволокло, одна-единственная звездочка виднелась. Ее закрыло, опять открыло. Опустясь на колени, на теплые иглы, не зная востока – он молился на эту звездочку. Сперва – готовыми молитвами. Потом – никакими: стоял на коленях, смотрел в небо, дышал. Потом простонал вслух, не стесняясь, как всякое умирающее лесное:

– Господи! Если можешь – прости меня и прийми меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу" (там же, стр. 429-430).

Гениальное место. Оно не требует комментариев. Это надо увидеть, услышать. Выдумать это нельзя.

* * *

И опять стремительный рывок вверх.

В ставке у Верховного. Воротынцев там, где самый мозг русской армии: великий князь Николай Николаевич, генерал Жилинский и другие.

Первое впечатление. Невольная улыбка. Солдатский спектакль. Лагерник все представляет на свой лад. Не такие они все были.

В 1975 году гостил у меня владыка Иоанн, архиепископ Сан-Францискский. В Люцерне. А Солженицын тогда находился по соседству. В Цюрихе. Говорю: "Владыко! Как я хотел бы, чтобы хоть один день Вы пробыли у Солженицына".

— Зачем это?

"Да пусть он хоть раз в жизни увидит, как настоящие баре выглядели. Он же их ни разу не видел наверное".

Николай Николаевич у него порой похож на начальника лагеря. А Жилинский, это точь-в-точь лагерный нарядчик. Вот не угодно ли?

"Ваше Высочество! Я прошу прекратить бессмысленное выступление этого полковника! — потребовал Жилинский, пристукнув по столу и выказывая, что еще совсем он не "труп" " (там же, стр. 568). Это на кого пристукнув, на Главнокомандующего, на великого князя? И дальше: "Ваше Высочество! — окрикнул Жилинский великого князя. — Здесь оскорбляется государственная честь России, решение, одобренное государем! По конвенции с союзной Францией...

Уже у Верховного последнюю секунду выхватывая, Воротынцев еще метнул с ненавистью:

— По конвенции Россия обещала "решительную помощь", но не самоубийство! Самоубийство за Россию подписали вы, ваше высокопревосходительство!!

(Янушкевича забыли, Янушкевич трусливо голову опустил. Он-то требовал от Северо-Западного еще на четыре дня раньше...)

— И военный министр! — закричал Жилинский. но голосом надгнившим, нестрашным. — И одобрено его величеством! А такому офицеру, как вы, не место в Ставке! И не место в российской армии! Ваше Императорское Высочество!.." (там же, стр. 570).

Прошу прощения, Александр Исаевич! Это куда Вы нас привели? В ставку Главковерха русской армии или на базар? Ну, да Вы казак. В Ростове на рынке так ругаются.

Да и сам Главнокомандующий тоже хорош.

Всем (и встречному, и поперечному), и первопопавшемуся полковнику, и отцу Георгию сует интимную телеграмму царя, которая начинается словами: "Дорогой Николаша" и оканчивается подписью "твой Ника" (там же, стр. 550). Нет, великие князья, принцы крови, так не делают.

Так делают выскочки, хвастаются царскими интимными телеграммами. Вся беда в том, что Александр Исаевич пишет об очень далеком и очень близком. Очень далеком потому, что очень изменился с тех пор быт (и Исаевич этих людей уже не знает), и очень близком, поэтому еще сохранились люди, которые все это знают (дети и внуки этих людей). Писать об этом очень трудно.

Что касается внутренней динамики – психологии Николая Николаевича и других членов штаба, Солженицын ее в какой-то мере уловил. И великий князь Николай Николаевич и весь генералитет, и сам государь и государыня – все были патриотами. Все любили Россию. Но беда вся в том, что Россия была для них лишь метафизическим понятием. Ни кто из них народа не знал и не понимал.

Один из самых наблюдательных, тонких, причем искренно любящих и Николая Николаевича, и государя, мемуаристов протопресвитер отец Георгий Шавельский пишет о Николае Николаевиче следующее:

"Великий князь должен был хорошо знать деревню с ее нуждами и горем. Он ежегодно отдыхал в своем Першине. И, однако, я ни разу не слышал от него речи о простом народе, о необходимых правительственных мероприятиях для улучшения народного благосостояния, для облегчения возможности лучшим силам простого народа выходить на широкую дорогу. В Першине образцовая псарня поглощала до 60 тысяч рублей в год, а в это самое время из великокняжеской казны не тратилось ни копейки на першинские просветительские и иные неотложные народные нужды. В этом отношении великий князь Николай Николаевич, можно сказать, не выделялся из рядов значительной части нашей аристократии, отгородившейся от народной массы высокою стеной всевозможных привилегий и слабо сознававшей свой долг пещись о нуждах многомиллионного простого народа. У великого князя как-то уживались: с одной стороны, восторженная любовь к Родине, чувство национальной гордости и жажда еще большего возвеличения великого Российского государства, а с другой – тепло-прохладное отношение к требовавшему самых серьезных попечений и коренных реформ положению низших классов и простого народа. В таком сочетании противоположностей сказывался известного рода эгоизм и своего рода близорукость, ибо для действительного и прочного возвеличения Российского государства прежде всего требовалось повышение уровня жизни народной массы и все большее и большее приобщение ее к культурной жизни страны". (Георгий Шавельский, "Воспоминания последнего

протопресвитера русской армии и флота”, Нью-Йорк, 1959, том первый, стр. 137).

В этом слабость русской армии, слабость кадрового русского офицерства. Всего. От Верховного до офицера-бурбона, который бил солдату морду, сек его розгами и героически умирал вместе с ним в жарком рукопашном, штыковом бою.

С суворовскими словами: ”Пуля дура, штык молодец, сабля не тесак, а я не немец, я природный русак!”

* * *

Уже позднее появился ”Ленин в Цюрихе”. Так как этот отрывок примыкает к Солженицынской эпопее, надо и об этом фрагменте сказать несколько слов.

Конечно, это самое слабое, что есть в творчестве Солженицына. Когда-то у Станиславского был критерий: ”верю” – ”не верю”. Слова ”не верю” хочется сказать на каждой строчке этого фрагмента.

Начало повести – ”не верю”. Сложеницын очень плохо и очень мало знает тип старого русского интеллигента. Ленин – русский интеллигент до глубины души. Он всегда в абстракциях, в теориях, а в жизни – ”не от мира сего”, деликатен, мягок, пока дело не дойдет до его ”idée fixe”. Здесь он, как все фанатики, нетерпим до крайности.

”Не верю” разговору с Парвусом. Это бред. Бред не Ленина, а автора.

Прежде всего первый вопрос: почему, если Парвус такой ”вумный”, он сам не поехал в Россию

и не сделал революцию?

Второе: если Ленин был так честолюбив, тщеславен и нечист на руку, зачем ему вообще Парвус? Проще же договориться с Временным правительством, с эсерами, с меньшевиками. Наконец, с Пуанкаре, с Брианом, с Ллойд-Джорджем. Почему ему не стать во главе Временного правительства (не глупее же он Керенского, чорт возьми!). Но в том-то и дело, что Ленин одержимый фанатик.

Морис Палеолог приводит свой разговор с французским "осведомителем". Разговор происходил в 1915 году. Зашла речь о Ленине. О его пораженческой позиции. Палеолог спросил:

"А не может ли быть, что Ленин немецкий агент?"

"О, нет, – ответил осведомитель, – он фанатик, но чистый человек. Даже враги относятся к нему с уважением".

"Тогда он вдвойне опасен", – ответил Палеолог.

Вот эту истину, которую понял тонкий интеллектуал Морис Палеолог, не понял Солженицын. Поэтому образ Ленина у него примитивен, не убедителен, неудачен. И в общем такой Ленин не опасен. Странно, что ему удалось так много сделать. И увлечь миллионные массы людей во всем мире.

АРХИПЕЛАГ «ГУЛАГ»

И наряду с этим грандиозный труд: "Архипелаг ГУЛаг". Что это? Роман? Эпопея? Научное иссле-

дование? Названия нет. Как для всякого гениального произведения.

Как для "Онегина". (Роман в стихах – нечто новое, невиданное, не имеющее ни предшественников, ни подражателей). Как "Мертвые души". ("Поэма" – поэма в прозе, также без предшественников и подражателей).

И "Архипелаг". (Сам автор назвал его "опытом художественного исследования – опять новый жанр – без предшественников и, наверное, без подражателей).

Пишущий эти строки плохой "комплиментщик". И все же, если бы "Солж" написал бы только это и ни одной строчки больше, – этого было бы достаточно, чтоб имя его стало бессмертным не только "в памяти русской", –но и в памяти народов всего мира. Да оно уже и бессмертно. Три года назад в Париже, как только водитель такси узнавал, что я русский, он мгновенно вынимал из-под сиденья "Архипелаг ГУЛаг" во французском переводе и молча мне его показывал. Так же и портье и случайные соседи в отелях, и даже официанты в парижских кабаках.

Все, что в этой книге – история. Нет ни одного выдуманного факта. Любой лагерник обо всем этом слышал, все это видел, многое испытал на собственной шкуре.

И в то же время все в "Архипелаге" пропущено через призму личных воспоминаний, личных ощущений, личных впечатлений. Это придает исследованию неповторимый, лирический колорит, – делает эпопею своеобразнейшим, бессмертным художественным произведением.

Перед нами 1-ый том. Арест. То, с чего для всякого начинается "Архипелаг". Когда-то, в тридцатых годах, все мы, возвращаясь из театра, смотрели — нет ли классического "черного ворона" у ворот дома. Если нет, вздыхали с облегчением.

То было время "классических" арестов — ночью, "черным вороном", после обыска в вашем присутствии.

Но искусство, наука не стоят на месте. В том числе искусство, наука палачей.

Александр Исаевич начинает первый том с описания арестов, многочисленных и многообразных арестов. Всюду, в любое время дня и ночи, везде. Арестовывают на ходу, на улице, на почте, в театре, — чекисты под видом приятелей, случайных прохохожих, кавалеров. Главное — неожиданность. Потаенность.

Естественно и просто Александр Исаевич переходит к своему аресту. Так же естественно и просто (ни одного лишнего слова, ничего нельзя ни прибавить, ни убавить) он рассказывает о той гамме ощущений, когда ты вдруг из свободного человека делаешься арестантом.

Главное чувство в этой гамме ощущений: покорность, кролик, который сам лезет в звериную пасть. Так и во время следствия. Автор описывает пытки, когда человек, обалдев от боли, превращается в комок, визжащий, кричащий и извивающийся: "... у тебя будет еще пятнадцать секунд вскричать, что ты все признаешь, что ты готов посадить и тех двадцать людей, которых от тебя требуют, или оклеветать в печати свою любимую святыню.

И суди тебя Бог, а не люди!" (А. Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг", ИМКА-пресс, 1973 г., стр. 137).

И он же дает всем нам прекрасный совет, как сделаться тверже камня, как выстоять перед лютыми пытками: "Надо вступить в тюрьму не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного раньше, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель. Сейчас или несколько позже, но позже будет тяжелей, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня, – и я для них умер. Тело мое с сегодняшнего дня для меня – бесполезное чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны". (Там же, стр. 139).

Разумеется, такие советы легче давать, чем исполнять. Но так бывало. А.И. Солженицын приводит пример, как мужественно вела себя старушка, простая женщина, у которой ночевал бежавший за границу митрополит. (Очевидно, обновленческий митрополит Василий Смелов, впоследствии, за границей, Архимандрит Виссарион – единственный, которому удалось перебежать персидскую границу не в 1935 году, как пишет Солженицын, а в 1929 году).

Кончается же первый том примером из "совсем другой оперы": примером провинциального коммуниста В.Г. Власова, который столь же мужественно вел себя в 1937 году перед смертной казнью.

Так замыкается кольцо: верующая старушка, спасающая Митрополита, и провинциальный коммунист, любящий народ. Оба не боятся. Оба плюют в

морду палачам. Оба бесстрашно идут на смерть. Поистине "В доме Отца Моего обители многи суть".

* * *

Это в начале и в конце 1-ой части 1-го тома.

Но в середине не то. Абсолютное большинство не такое. И в книге, и в жизни. Галерея образов. Прежде всего, чекисты. Говоря о них, Солженицын цитирует Льва Николаевича Толстого: "Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди – все у него в руках".

Это тогда, когда Иван Ильич был судебным следователем.

Что касается Ивана Ильича, то власть его была призрачной. В конце концов – единственное, что он мог сделать (как об этом пишет Лев Николаевич Толстой) – это вызвать в качестве свидетеля (обвиняемого реже) и заставить испытать два-три неприятных мгновения. А далее – плевать они на него хотели. Но власть даже самого маленького чекиста не то, – он, действительно, может кого угодно вызвать, арестовать, обречь на мучения.

А.И. Солженицын очень правдиво рассказывает биографию рядового, типичного чекиста, оболтуса и невежды, который становится "вертухаем", следователем, начальником. Так и видишь перед собой этих вершителей судеб в фуражках небесного цвета, главным интересом которых является спорт. (Они всегда "болеют" за чекистскую команду "Динамо" и всеми силами души ненавидят команду "Спартак").

Естественно и просто Солженицын окидывает взглядом всю лестницу чекистов вплоть до оберчекиста Абакумова. А затем стремительный спуск. Опять он, "Солж".

Вспоминая свою молодость, он спрашивает себя: мог ли бы он стать чекистом? И отвечает на этот вопрос утвердительно.

Правда, бесстрашная, горькая правда.

Я много раз наблюдал, будучи учителем, как моих учеников – десятиклассников, среди которых были хорошие парни, на моих глазах развращали и как многие из них сразу после окончания школы становились чекистами. И далее великие слова: "Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность. А между тем был вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове – может быть, и Берии, – я вырос бы как раз на месте".

Такого бесстрашного самообвинения в русской литературе еще не было – и такое бесстрашное самообличение возможно только в России, у русского.

И далее: "Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждет, что она будет политическим обличением".

Если б это было так просто! – что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?" (там же, стр. 175-176).

И очень глубоко об идеологии. Писатель пра-

вильно отмечает, что идеология может быть страшным орудием в руках палача. Он правильно говорит, что Яго и Макбет – ягнята по сравнению со злодеями XX века.

"Идеология! Это она дает исконное оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки, и слышать не укоры, не проклятия, а хвалы и почет... Благодаря *идеологии* досталось XX веку испытать злодейство миллионное" (там же, стр. 181).

Мало того. Идеология превращает иной раз человека в тряпку, в ветошку. Умного, выдающегося человека. Очень глубоко показывает это Солженицын на примере столь замечательной личности, как Николай Иванович Бухарин. Но палка о двух концах. Ведь идеология рождает и героев. И этого не может отрицать Солженицын.

На протяжении книги – герои – эсеры, герои – троцкисты. И наконец, два героя, пропитанные идеологией: верующая христианка, скрывающая Митрополита, и героический коммунист Василий Григорьевич Власов, беззаветно любящий народ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ "АРХИПЕЛАГА" "ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ"

Быть может, лучшее из всего написанного Солженицыным. Быть может, одно из лучших, что написано в XX веке. Одно из лучших, что есть в русской литературе. Через десятки, сотни лет будут изучать

это в школах, в институтах, читать в хрестоматиях.

Завидно, но и страшно за автора.

Забрызгают слюной и замызгают учителя литературы, как, по словам Леонида Андреева, забрызгали слюной "Горе от ума". (См. воспоминания о Л. Андрееве Горького).

Надо писать о "Вечном движении" сейчас, пока читается под непосредственным впечатлением, пока это еще не стало классикой.

Начинается вторая часть с красочного описания лагерных этапов. Это, действительно, самое ужасное в лагерной жизни, в советской жизни. Купе, набитое до отказа, по 40-60 человек в помещении, рассчитанном на 10-12 человек.

Отправление естественных потребностей, еда, питье, — все превращается здесь в пытку. Блатные, с которыми впервые сталкивается осужденный. И тут же обобщение огромной силы. Не можем не привести здесь этот абзац целиком:

"Никто, никто не задался целью мучить нас! Действия конвоя вполне рассудительны. Но как древние христиане сидим мы в клетке, а на наши раненые языки сыпят соль. Также и совсем не имеют цели (иногда имеют) этапные конвоиры перемешивать в купе Пятьдесят восьмую статью с блатарями, а просто: арестантов чересчур много, времени в обрез — когда с ними разобраться? Одно из четырех купе держится для женщин, в трех остальных, если уж и сортировать, так по станциям назначения, чтоб удобнее выгружать.

И разве потому распяли Христа между разбойниками, что хотел Пилат Его унизить? Просто день

был такой – распинать, Голгофа одна, времени мало. И "к злодеям причтен".

("Архипелаг ГУЛаг", ч. II, стр. 497. ИМКА-пресс, 1973 г.)

Действительно, государство – "самое холодное из чудовищ", как говорил Ницше. Машинность – это самое ужасное, что есть на "Архипелаге", в КГБ, в советском режиме. С человеком, с людьми можно спорить, можно ругать их, проклинать, – с машиной спорить бессмысленно и бесцельно.

И ты чувствуешь себя в зубцах этой бесчувственной и в то же время беспощадной машины.

Когда-то Анна характеризовала в романе Толстого своего мужа: "Это не человек, а министерская машина. И злая машина, когда рассердится".

В этом предложении по меньшей мере три нелепости.

Во-первых, машина не может рассердиться. Во-вторых, машина не может быть злой. Быть злым – это уже человеческая категория.

И в-третьих, это Алексей-то Александрович – машина? Сразу видно – не бывала ты, матушка, в "Архипелаге". Каренин не может выносить женских слез, он способен пожалеть неверную жену и удочерить чужого ребенка. Посмотрела бы ты, матушка, на министерские "машины" советской выделки.

Впрочем, есть одна оговорка: "иногда имеет".

В 1949 году, когда нас везли этапом из Москвы в Каргопольлаг, вологодский конвой (20-летний мальчишка) в Ерцеве, когда мы выходили из вагона, каждого толкал в спину со всей силы. Все безропотно это переносили. Когда толкнул и меня,

природная отцовская вспыльчивость взяла верх. Обернувшись, я крикнул: "Ты что, болван, сволочь?" И схватил его за ремень. И чудо: парнишка смутился, и мгновенная перемена: я увидел перед собой самого обыкновенного деревенского мальчугана.

"Да я так!" – смущенно пролепетал он. Машина превратилась в человека.

* * *

Как известно, А.И. Солженицын враждебно относится к социалистам (в том числе и к эсерам и к анархистам). Однако, как всегда у великих писателей (а автор "Архипелага", конечно, великий писатель) художественная правда побеждает.

"В круг всей тюремной борьбы социалистов, что ни год, то безнадежней одиночество отсасывалось до вакуума. Это не было так, как при царе: только бы двери тюремные распахнуть – и общество закидает цветами. Они разворачивали газеты и видели, как их обливают бранью, даже помоями (ведь именно социалисты казались Сталину самыми опасными для его социализма) – и народ молчал, и почему можно было осмелиться подумать, что он сочувствует тем, за кого не так давно голосовал в Учредительное Собрание?

А вот и газеты перестали браниться – настолько уже неопасными, незначащими, даже несуществующими считались русские социалисты. Уже на воле упоминали их только в прошлом и давно прошедшем времени, молодежь и думать не могла, что еще

живые где-то есть эсеры и живые меньшевики. И в чреде чимкентской и чердынской ссылки, изоляторов Верхнеуральского и Владимирского – как было не вздрогнуть в темной одиночке, уже с намордниками, что, может быть, ошиблись, и программа их и вожди ошибками были, также и практика. (И вот не дрогнули – А.Л.) ...

Их одинокий тюремный бой был, по сути, за всех нас, будущих арестантов, хотя сами они могли и не думать так, не понимать этого, за то, как мы будем потом сидеть и содержаться. И если б они победили, то, пожалуй, не было бы ничего того, что потом с нами будет, о чем эта книга, все семь ее частей. Но они были разбиты, не отстояв ни себя, ни нас. (Там же, стр. 475, 476).

И в последней фразе ошибка.

Герои, мученики не могут быть разбиты. Герои русской "земли и воли" – эсеры не разбиты, – они светят для будущих поколений неугасимым светом. И, мертвые, они вожди живых. И они это знали, и шли на это.

"Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и в шахтах сырых,
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых"

А.И. Солженицын удивлен, что и в эти годы появлялись молодые эсеры, молодые меньшевики, молодые анархисты.

Подождите, Александр Исаевич, скоро Вы отвыкнете удивляться, что будут молодые эсеры.

Вижу: их будет в России столько, сколько песка морского. Представители этой подлинно русской партии, выразители подлинно русской правды.

Выше мы назвали Солженицына великим писателем. Этот титул ему уже давали многие. Но пишущий эти строки не любит титулов. И поклонники Солженицына, конечно, будут возмущены многими строками, имеющимися в этой работе.

Но сейчас, тронутый страницами о заключенных, бессмертными страницами, я не могу не дать ему этот титул. И уверен, что вечным движением останется "Вечное движение".

Колеса тоже не стоят,
                    колеса...
Вертятся, пляшут жернова,
Вертятся..."

как писал какой-то неизвестный поэт В. Миллер, слова которого взял Солженицын эпиграфом к своей II-й части.

Только гений, только талант остается. Никакие колеса его не перемелют.

* * *

Все в Архипелаге рассчитано на то, чтоб подавить личность, унизить, превратить человека в кусок дерьма.

И Солженицын рассказывает с бесстрашной откровенностью о том, как он испытывал на себе это превращение. Как он договаривается с "паханом",

чтобы тот ему дал место наверху, согнав двух политзаключенных под нары. Он говорит о краске стыда, которая заливает ему щеки при этом воспоминании, и спрашивает себя: "Трус ли я? Мне казалось, что нет. Я совался в прямую бомбежку в открытой степи. Решился ехать по проселку, заведомо заминированному противотанковыми минами. Я оставался вполне хладнокровен, выводя батарею из окружения и еще раз туда возвращаясь с подключенным "газиком". Почему же сейчас я не хвачу одну из этих человекокрыс и не терзану ее розовой мордой о черный асфальт"... (там же, стр. 542).

Когда-то Герцен писал про "Мертвые души", что это произведение горькое, но не безнадежное.

И, может быть, нечто подобное можно сказать про "Архипелаг". И особенно про 2-ую часть, про "Вечное движение". Заканчивается вторая часть бодрой нотой. Заключенный Солженицын снова в Москве, по пути в "шарашку", снова в Бутырках. И здесь он видит новых людей, одухотворенных, жертвенных, новую молодежь.

Выше мы приводили его слова о том, что странно ему вспомнить молодых людей, которые объявляли себя эсерами тогда, когда эта партия была уже разбита. И вот, она вновь перед нами, новые эсеры. В самом деле. Кто такой профессор Тимофеев – Риссовский. И мальцы – Вячеслав Д., Георгий Ингал, Гаммеров, впоследствии умерший в лагерях? За что они борются? Чего они хотят?

Реставрации царского строя? Им это даже в голову не приходит. Фашизма? Они его ненавидят. Власти торгашей и фабрикантов? Взгляни на них, не

знающих, что такое корысть, не знающих, как добываются и как считаются деньги – и сразу скажешь: "нет". Их идеал – лейтенант Шмидт. Они поклонники Пастернака и Тынянова.

Они хотят свободы, безграничной русской воли. Они хотят, чтоб вся Земля Русская принадлежала тем, кто ее обрабатывает. Они хотят Земли и Воли.

А что еще хотели эсеры? И сам Солженицын с ними. И он приникает к вдохновенным строкам Пастернака о лейтенанте Шмидте.

И тогда и потом, много лет спустя, став уже знаменитостью (об этом рассказывает в своих воспоминаниях Лидия Чуковская).

И Вы хотите земли и воли. И Вы эсер, хоть и не сознаете этого, Александр Исаевич!

И последние строки 2-ой части:

"Московские студенты сочинили песню и пели ее перед сумерками неокрепшими своими голосами:

"Трижды на день ходим за баландою,
Коротаем в песнях вечера.
Иглой тюремной, контрабандною
Шьем себе в дорогу сидора.
О себе теперь мы не заботимся.
Подписали – только б поскорей!
И когда сюда еще воротимся
Из сибирских дальних лагерей?"

Воротитесь, ребята, и мы с вами еще встретимся на Пушкинской площади, на митингах и за подпи-

санием петиций. И еще состаримся вместе и умрем с заветными словами на устах: "Земля и воля! Вольная, счастливая Русь!"

В борьбе обретешь ты право свое!

* * *

А затем Ш-ья часть, которая носит название "Истребительно-трудовые".

Действительно, здесь подробное описание лагерного быта. До некоторой степени это центральная глава исследования "Архипелаг ГУЛаг".

Это как бы энциклопедия лагерной жизни. Однако, эта сторона солженицынской эпопеи в данный момент нас интересует не в первую очередь. О лагерном быте и так написано уже много (тут и Шаламов, и Гинзбург). И сами мы писали обо всем этом недавно. Во втором томе наших воспоминаний. (См. "Рук Твоих жар"), а о современном лагере в IV томе (См. "Родной простор").

Здесь нас интересуют психологические наблюдения большого мастера, а также эпизоды, впервые изображенные в литературе.

Вот перед нами истоки лагерей. Соловки. Охрану несут бывшие белогвардейцы из заключенных. Почему?

"Так — без сговора и вряд ли по стройному замыслу — складывается соловецкое сотрудничество чекистов и белогвардейцев!"

Где же принципиальность тех и других? Удивительно? Поразительно? — Только тому удивительно, кто привык к анализу классово-социальному и не

умеет иначе. Но тому аналисту все на свете удивительно, ибо никогда не вливается мир и человек в его заранее подставленные желобочки.

А соловецкие тюремщики и черта возьмут на службу, раз не дают им красных штатов. Положено заключенным самоконтролироваться (самоугнетаться).

И кому же лучше поручить?

А вечным офицерам, военным косточкам – ну как не взять организацию хоть и лагерной жизни, лагерного угнетения в свои руки... Что погоны делают с человеческим сердцем – мы уже в этой книге толковали". (А. Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг" – (1918-1956 гг.). III-IV томы. ИМКА-пресс, 1974 г., стр. 45, Париж).

Неплохая иллюстрация к словам Шульгина (см. "1920 год") о том, что "белая идея" перешла через фронт, проникла в красные ряды.

И к мечтам Устрялова, младороссов, евразийцев, сменовеховцев и прочих – о преобразовании советской России в крепкое национальное государство.

Тюремщики и милитаристы всех стран, всех направлений, соединяйтесь!

Тут есть логика!

Если крестьян можно всех подряд сечь шомполами, почему нельзя их поголовно сажать в лагерь?

Далее о Горьком (58-62 стр.). О его печально знаменитом посещении Соловков. О позорных похвалах рабскому труду, о позорных слезах умиления перед чекистами. О расстреле мальчика, сказавшего Горькому правду.

И далее проклятый вопрос: чем это объяснить? Глупостью, непониманием, корыстью? В самом деле, его обманули? Но даже его старая приятельница Кончаловская рассказывает в своих недавно опубликованных воспоминаниях в "Новом мире", как ей неприятно было слушать похвалы Горького лагерю.

А Екатерина Павловна Пешкова, первая его жена, оставшаяся его другом, председательница "Общества помощи политзаключенным", уж наверное все знала и понимала. Да и сам Горький -- нельзя сказать, что ничего не понимал. В книге, недавно вышедшей в Риме, рассказывается, как Горький, который помог освободиться с Соловков и уехать за границу Юлии Николаевне Данзас (бывшей фрейлине императрицы Александры Федоровны и католической монахине), имел с нею перед ее отъездом длинный разговор с глазу на глаз. Причем предварительно услал обоих своих секретарей под каким-то предлогом. Уж она-то, наверное, ему рассказала правду. (См. книгу Диакона ЧСВ "Леонид Федоров. Жизнь и деятельность", Рим, 1966 год, стр. 793-794).

Наконец, интересная деталь. Когда перед смертью Горький хотел проститься со своей последней старческой любовью графиней Бенкендорф (бывший мастеровой малярного цеха, как и все нувориши – питал слабость к аристократии и, в особенности, к аристократкам), и она для этого специально приехала из-за границы в Москву, он настоял, чтобы она немедленно уезжала, пока он еще жив (понимал, что после его смерти ее уже не выпустят). Значит, кое-что он знал. И понимал, в каком государстве он живет.

В то же время слишком примитивно объяснение Солженицына, что Горьким руководил корыстный расчет. Сложнее. Как раз в это время писал Горький свой последний и действительно талантливейший роман "Жизнь Клима Самгина". И в Климе Самгине – потомственном интеллигенте – он сам, потомственный мастеровой. Двоедушие, внутренняя противоречивость, слабость – всегда были отличительными чертами Горького.

И на Соловках побывал Самгин: он видел то, что хотел видеть и сознательно закрывал глаза на то, что видеть не хотел. Он обманывал прежде всего самого себя, а потом и своих многомиллионных читателей.

Так поступал он не один: и Бухарин, и Алексей Толстой, и Леонид Леонов, и Патриарх Сергий, и Митрополит Введенский, и вероятно, советский учитель, ваш покорнейший слуга, когда говорил с учениками о русской литературе и в том числе о Горьком.

Далее заключительная часть исследования. Чекисты. Страшная фигура отцеубийцы Успенского, ставшего большим начальником на Соловках. Яркими красками рисует Солженицын образ сатанински гениального Нафтолия Ароновича Френкеля. Крупнейшего коммерсанта, финансового гения, дважды бывшего накануне расстрела, и оба раза сумевшего пробиться к Сталину, очаровать, околдовать его. И стать инициатором системы лагерей. Умершего в чине генерал-лейтенанта в Москве, на своей квартире, у Сретенских ворот. Жизнь этого мрачного гения еще ждет своего летописца.

И далее. О книге ”Балтийско-Беломорский канал”. Официальная книга, изданная в 1935 году. Мы вовсе не собираемся преуменьшать вину Горького. Но ведь нельзя сказать, что Горький был в плохой компании. Солженицын приводит список авторов этой книги.

Да ведь это же цвет тогдашней русской литературы. И все писатели талантливейшие и из старых интеллигентов:

Максим Горький – Виктор Шкловский – Всеволод Иванов – Вера Инбер – Валентин Катаев – Михаил Зощенко – Л. Никулин – (это, правда, не писатель, а авантюрист – ”дешевка”, выражаясь по-лагерному) – Корнелий Зелинский – Бруно Ясенский – Е. Габрилович – А. Тихонов – Алексей Толстой – Константин Финн. Из них двое сами через несколько лет попали в опалу (Шкловский и Зощенко), а двое были расстреляны (Бруно Ясенский, Константин Финн).

И все-таки, когда позвали восхвалять палачей (только свистнули), так и побежали со своими перьями в зубах.

Поистине, великая блудница (по Апокалипсису) восседала на Кремлевских холмах и всех причащала из чаши, полной кала и мерзости.

”И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говоря со мною, сказал мне: ”Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле”.

И повел меня в духе в пустыню; и я увидел

жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.

И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: "Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным".

(Апокалипсис 17, стихи 1-5).

* * *

А.И. Солженицын нашел очень яркие краски, чтоб показать фигуры главных работодателей. Подхалимов писателей. Кошмарные условия на канале. Истерический энтузиазм. Взвинченную атмосферу. Горы трупов. Море страданий. И неожиданный заключительный аккорд:

1966-й год. Солженицын на канале. "Некто в гражданском ко мне подошел. Глаза проверяющие. Я простодушно: у кого бы рыбки купить? Да как по каналу уехать? Оказался он начальник охраны шлюза. "Почему нет, спрашиваю, пассажирского сообщения?"

– Да что ты, удивляется он, разве можно? Да американцы сразу попрут. До войны еще можно было, а после войны – нет.

– Ну и пусть себе едут.

– Да разве можно им показывать?

– А почему вообще не идут никто?

– Идут, но мало. Видишь, мелкий он, пять ки-

лометров. Хотели реконструировать, но наверное будут рядом другой строить, сразу хороший...

– Такой мелкий, – жалуется начальник охраны, – даже подводные лодки своим ходом не проходят, на баржи их кладут, тогда перетягивают.

– А как насчет крейсеров?..

О тиран-отшельник! Ночной безумец! В каком бреду ты это все выдумал?!

И куда ты спешил, проклятый? Что жгло тебя и кололо? – В двадцать месяцев? Ведь эти четверть миллиона могли остаться жить.

Крестьянские ребята сколько бы тебе наработали! Сколько б раз ты еще в атаку их поднял – за родину, за Сталина!

– Дорого обошелся! – говорю я охраннику.

– Зато быстро построили! – уверенно отвечает он.

"На твоих бы косточках!" (там же, стр. 100-101).

А действительно: "В каком бреду?"

Все бред: и этот канал. И сотни тысяч погибших. И ночной безумец.

Жизнь – бред. И когда он кончится?

"Боже! На дне какого канала утопить нам это прошлое???!"

* * *

Пытался выписать хотя бы наиболее яркие места из третьей части. Но это невозможно. Пришлось бы переписать ее всю.

Остановимся там, где автор открывает никому

до сего времени не известное. Жуткая 13-ая глава. Читать ее нельзя без содрогания.

В марте 1937 года троцкисты на Воркуте объявили голодовку. Это уже не в первый раз. В конце 20-ых они постоянно объявляли голодовки. И почти всегда выходили победителями.

Но наступил 1937-ой. Новые времена – новые песни.

Троцкисты опять "победили". Из Москвы телеграмма: все их требования удовлетворены. И они наивно поверили в свою победу.

Затем приехала комиссия из Москвы. На Воркуту был прислан чекист Кашкетин. Он начал следствие. Сначала троцкистов проводили через "следственную палатку", где их нещадно пороли плетьми – (это вам не цитаты из "классиков марксизма"), затем их всех стянули в устье Сыр-Яги, на Старый Кирпичный Завод.

Поместили вместе с блатными, которые издевались над ними, всячески их унижали, били, заставляли возить на себе.

И наконец, вывели колонной – 200 человек гнали по снежной степи. Светило солнце. Конвой стал отставать. И вдруг... вдруг начался пулеметный обстрел. Уложили всех, кроме блатных и нескольких провокаторов. Оставшихся в живых добивали, затем еще несколько расстрелов. 23, 24 апреля 1937 года. Всего было убито 700-800 человек. А затем еще и еще. Таково окончание дискуссии Сталина с троцкистами.

Знаменитый острослов Карл Радек когда-то говорил о сталинских приспешниках: "Как с ними

спорить? Мы им цитату – они нам ссылку. Мы им довод – они нам заключение". Но пуль Кашкетина он, кажется, все-таки не предвидел.

Но впрочем, не поздоровилось и палачам: первый отряд убийц – оперчекистов, конвоиров, блатных, участвовавших в кашкетинских расстрелах, также вскоре расстреляли как свидетелей. Через год расстрелян и сам Кашкетин.

"Кажется, трудно отрадней картину нарисовать, генерал", – как писал Некрасов.

Но есть еще "отраднее". Здесь передаем слово Солженицыну:

"А. Б-в рассказывает, как велись казни на Адаке (лагпункт на реке Печоре). Начали брать оппозиционеров "с вещами". На этап, за зону. А за зоной стоял домик III части.

Обреченных поодиночке заводили в комнату, там на них набрасывались вохровцы. В рот им запихивали мягкое, руки связывали назад веревками. Потом выводили на двор, где наготове стояли запряженные подводы. Связанных валили по 5-7 человек на подводу и отвозили на "Горку" – лагерное кладбище. Там сволакивали их в готовые большие ямы, и тут же *живых закапывали*.

Не из зверства, нет. А выяснено, что обращаться с живыми – перетаскивать, поднимать, – гораздо легче, чем с мертвыми. Эта работа велась на Адаке много ночей".

(А. Солженицын. "Архипелаг ГУЛаг", том III-IV, стр. 383, ИМКА-пресс, 1974 г.).

По сравнению с этими страницами любые строки и любые комментарии покажутся бледными.

Поэтому этим мы оканчиваем разбор III тома.

* * *

Как говорят, в 1923 году, отдыхая под Сочи вместе с Зиновьевым, Сталин заполнял шутливую анкету. Там был и такой вопрос: "В чем заключается счастье?"

Сталин ответил:

"Хорошо отомстить и отправиться спать".

Он, действительно, хорошо отомстил и отправился спать. Спокойный ли это сон?

Нет, не спокойный. Все придется отдать, до последнего кодранта.

* * *

И небольшая четвертая часть. Специально о стукачах. О духе лжи, боязливости, предательства, которые пронизывали страну с 1937 года.

Пишущий эти строки также является автором ряда работ на эти темы. Особенно много писал я о стукачах. И в специальной статье "В час рассвета". И во всех четырех томах моих воспоминаний. Сейчас приходится вернуться к этой теме.

Прежде всего должен возразить А.И. Солженицыну. Никогда не было такого положения, чтоб каждый пятый был стукачом. Беру для примера свою семью. Родственники по отцу. 17 человек. Ни одному из них в голову не могло придти, что кто-нибудь может иметь какое-либо отношение к "орга-

нам". Правда, двоюродная сестра отца была замужем за известным провокатором, нэпманом Виленским. Но все остальные родственники чурались его, как огня.

Родственники по материнской линии. Старая русская интеллигентская семья. 15 человек.

В голову никому не могло придти, чтоб когонибудь могли вербовать в КГБ. И чтобы кто-нибудь из нас мог иметь какое-либо отношение к этой организации.

Семья мачехи. Простая, мещанская русская семья. Старые москвичи. 15 человек.

В голову не могло придти что-либо подобное.

Семья моей жены (А.И. Солженицыну до некоторой степени знакомая: племянник моей жены отец Глеб Якунин). 12 человек. Чтобы кто-нибудь имел какое-нибудь отношение к этому учреждению — это все равно, чтобы кто-нибудь предложил поехать на Марс.

Семья моего близкого друга Доры Григорьевны (умерла в 1959 году). Еврейская интеллигентская семья, члены которой жили в Ленинграде и в Москве. 8 человек.

Если бы кто-нибудь высказал такое предположение (что он собирается поступить на службу в КГБ), решили бы, что человек сошел с ума, и послали бы за доктором.

Мои однокурсники по Институту им. Герцена. 40 человек. Есть некоторое слабое подозрение в отношении одного. За всех остальных 39 человек ручаюсь, как за себя самого.

Положение несколько меняется в послевоен-

ное время. Тут среди моих учеников в школах рабочей молодежи некоторые парни (реже девушки) становятся объектом вербовки, а некоторые сами напрашиваются на эту прибыльную должность. Речь идет, однако, в основном, о деклассированном, неустойчивом элементе. Ребята и девушки из хороших рабочих семей туда не идут. Хотя, конечно, "Правил нет без исключений".

К сожалению, сильно заражена стукачеством церковная среда (об этом я писал неоднократно). Здесь, пожалуй, шпиков больше, чем где-либо. Примерно, 25 процентов.

Тут применима статистика Солженицына. И даже в большей степени. Каждый четвертый человек. Но как правило, не активные стукачи, числятся там для проформы.

Как обстоит сейчас у КГБ дело со стукачами? Видимо, неважно. Если судить по тому, кого они вербуют. В Институтах, например, неопытных девушек. Одна из них говорила: "Я не понимаю, хорошо это или плохо".

Людей неустойчивых, с авантюрным душком. И, наконец, набитых дураков и дур, незадачливых, бездарных людей.

Теперь насчет отношения к нашему брату, арестанту, со стороны простых людей.

Я всегда был или арестантом, или непосредственно после освобождения, или накануне ареста. Никогда я не мог пожаловаться на плохое к себе отношение со стороны кого-либо.

В 1970 году я освободился в Сочи. Причем, вид у меня был такой, что при освобождении мили-

ционер мне сказал: "Как же Вы пойдете по городу? Вас же опять к нам приведут". Но никто никуда меня не привел.

Меня жалели и наперерыв мне предлагали и ночлег, и деньги. Пока я дошел до дома своего приятеля (на другой конец Сочи), я получил четыре таких предложения.

Я уже не говорю о церковных людях. Я не помню такого момента, когда в православных храмах не молились бы о заключенных, не собирали бы для них деньги, не делали бы для них все, что могли.

Я уже не говорю о том времени, когда священник или монах освобождался. Тут к нему бросались все наперерыв, окружали его заботой и лаской, как самого родного, близкого человека.

И с сожалением должен сказать: хуже всех вела себя интеллигенция.

Напуганные и двоедушные "специалисты" – юристы, инженеры, научные работники побаивались освобожденных и опасались с нами иметь дело.

Но опять-таки не все; много было и здесь прекрасных исключений. Так что, основываясь на своем горьком опыте, я должен поправить А.И. Солженицына. Он слишком пессимистичен.

Русский народ и в этом отношении, как и в других, до конца испортить все-таки не удалось.

"В БОРЬБЕ ОБРЕТЕШЬ ТЫ ПРАВО СВОЕ" (ЧАСТЬ ПЯТАЯ "АРХИПЕЛАГА")

Избитым местом литературоведения считается, что мыслитель и художник в одном лице часто про-

тиворечат друг другу. Классические примеры: Николай Васильевич Гоголь, Достоевский, Лев Николаевич Толстой.

Можно привести и еще один, мало приятный для писателей пример: "Валаамовой ослицы", которая благословляла, тогда как Валаам считал нужным проклинать.

Число классических примеров можно продлить. Как известно, Александр Исаевич Солженицын – враг революции, и когда он говорит о перспективах России, он начисто исключает революцию.

И вот перед нами часть пятая. Революция в миниатюре. Отважные борцы, которые умирают, но не сдаются: *Георгий Тэнно и Слученков*. И рядом "умеренные". Из них наиболее типичной фигурой является Кузнецов. Это лабораторный опыт: революция с начала до конца.

Как начинается революция? С активного неприятия существующих порядков. В лагерных условиях – это побеги.

Беглецы в советских условиях – герои.

Всякий беглец знает, что удача – это один шанс на тысячу.

Неограниченные силы у хозяев лагпункта: чтобы поймать беглеца, не пожалеют никаких средств, никаких затрат. Людские резервы отправляющихся на поимки – неограниченны. Легко и просто подключить к этому делу сотни и сотни человек.

Наконец, беглецу приходится идти в сплошь враждебной среде. Каждый лагерь окружен поселком. В поселке живут семьи конвоиров, которые все сплошь преданные псы КГБ.

Затем леса, дремучие, болотистые. Зимой – пурга. Север. Полуголодное население, которое готово предать за несколько лишних буханок хлеба. Дикость. И наконец, побег с минимальными средствами: никакой помощи извне. При себе – самое большее, что удается скопить: несколько паек хлеба.

В 1954 году (в эпоху относительного "либерализма") удавалось приобрести в ларьке плитку шоколада. Все!

И наконец, расплата за побег. В случае неудачи – смерть. Так бывало в 90 случаях из ста. В своих лагерных воспоминаниях (см. "Рук Твоих жар", т. II моих воспоминаний) я рассказываю о том, как восемнадцатилетний парень Олег, решившись на побег, в момент поимки бросился на колени и умолял не убивать. Подошли вплотную и убили в упор.

Начальник лагерного пункта № 12 (Каргопольлаг, Мехренгское отделение) Павленко отдал распоряжение: "Живыми не приводить". Ему нужны были жертвы, чтоб запугать других заключенных. Там же я рассказываю о том, как заключенный врач, Анатолий Силыч Христенко, "заработал второй срок" за то, что отказался подписать фальсифицированный акт об убитом беглеце. Начальство требовало, чтобы он подтвердил факт убийства во время бегства, тогда как беглец был убит в упор. Рана в лоб была окружена ожогами.

Чтобы решиться в таких условиях бежать, надо быть героем. Ведь каждый лагерник видел трупы беглецов, положенные на разводе для острастки заключенных.

Однажды, в 1955 году, в эпоху хрущевского "либерализма", когда беглецов уже не убивали, а отдавали под суд, я присутствовал на лагерном судебном процессе.

Перед судом здоровенный мужик (уголовник). Судья (типичный чекист). "Итак, Вы решили убежать от советского государства?"

Подсудимый (угрюмо, но настойчиво): "Нет, я политикой не занимаюсь".

А ведь судья прав: бегство из лагеря – это бегство от советского государства, которое всеми силами против тебя ополчается и будет тебя преследовать и тебя, конечно, доканает.

Таким героем, бросившим вызов советскому государству, является Георгий *Тэнно*. Это революционер. Хотя непосредственно революционной деятельностью он не занимается. Каковы его черты? Прежде всего – беззаветная храбрость, находчивость, умение находить общий язык с людьми из народа. Умение избегать поимки. Заметать следы. Это прирожденный конспиратор.

И в то же время моральная чистота. Он самоотверженный товарищ, преданный друг.

К Коле, своему молодому товарищу, он питает отеческие и в то же время дружеские чувства. Заботится о нем, как о родном сыне, хотя Коля в общем плохой и неумелый товарищ. Большую часть побега он не помощь, а обуза.

К Тэнно применимы в гораздо большей степени, чем к Ленину, слова Маяковского:

”Он к врагу
вставал
железа тверже,
Он к товарищу
милел
людскою лаской”.

Он не обидит зря и котенка. Был пойман, чудом остался жив. Вышел на свободу в 1956 году. Москва. Позади ужасная, страдальческая жизнь. Вспоминай и отдыхай.

Но он все тот же: помогает Солжу (своему старому лагерному другу) распространять его произведения и готовится к покушению на ”Славика Карзубого” (Молотова).

И умирает от рака, полный человеческой ласки к друзьям и железной твердости к тиранам. Это ли не революционер?

И далее. Солженицын находит очень яркие краски, чтоб показать, как постепенно в 50-ые годы зреют в умах повстанческие настроения. Как они особенно сильно разгораются после смерти Сталина и ареста Берия.

Александр Исаевич Солженицын показывает, как эти настроения постепенно распространяются среди заключенных, как зреет мысль о подкопах.

Это еще более несбыточно, чем индивидуальный побег. Не было случая, чтоб подкоп, самый технически безукоризненный, дал бы какие-нибудь положительные результаты. Но то, что люди объединяются, учатся конспирации — это очень знаменательно и характерно для этого времени (никогда раньше этого не было).

Постепенно выкристаллизовывается будущий штаб восстания. И здесь, как в лабораторном опыте, прообраз будущей революции. Позволю себе тут маленькое отступление. Только что вышла в свет книга Петра Григоренко: "В подполье можно встретить только крыс". (Нью-Йорк, издательство "Детинец", 1981 г.).

Заглавие характерно: автор, сам когда-то пытавшийся быть конспиратором, совершенно разочаровался в методах подполья и утверждает с большой экспрессией, что возможны исключительно легальные, открытые методы.

С почтенным автором можно согласиться, поскольку речь идет о такой ситуации, когда никакого движения еще не существует, а подполье насаждается искусственно, в виде заговора нескольких человек.

Другое дело, когда движение уже сформировалось, когда все кругом дышит протестом, когда люди рвутся к действию, – в этот момент образование тайного штаба, который разрабатывает планы, руководит подготовкой восстания, берет в свои руки командование движением – неизбежность.

Боевой генерал, проделавший весь путь войны, и крупнейший военный теоретик Петр Григорьевич Григоренко все это знает лучше нас.

И вот такой штаб образуется в лагере, где был А.И. Солженицын. Он рассказывает, как постепенно рассеивается у заключенных страх, как они постепенно (после многих неудач и поражений) учатся добиваться своих целей, учатся побеждать.

Первый этап борьбы и первая победа. Отказ от

наручников. Ребята ломают кандалы, снимают их друг с друга, закидывают их туда, где надзору их не найти. Это начальная форма борьбы, но это уже борьба. И вынужденный отказ администрации от употребления наручников, это хотя маленькая, но уже победа. И у Александра Исаевича вырываются слова: "В борьбе обретешь ты право свое!"

(Александр Солженицын. Собрание сочинений, т. VII. Вермонт —Париж. 1980 г., стр. 278).

Я не знаю, как относится к эсерам Солженицын. Конечно, вероятно, отрицательно. (Поклонник Столыпина – и человек, сочувствующий эсерам – это внутреннее противоречие). Но вновь художник пересилил мыслителя и, составляя летопись борьбы, писатель пришел к лозунгу русских социалистов-революционеров. И опять предвосхищение будущего. Ни к какому другому лозунгу русский народ придти не может и не придет.

Александр Исаевич Солженицын рассказывает, как постепенно назревали лагерные бунты. Когда он пытается выйти за пределы Экобастуга и разобраться в причинах бунта, он, мне кажется, напрасно игнорирует очень важный момент: амнистию для воров – 28 марта 1953 года. После этой амнистии 58-ая статья автоматически стала абсолютным большинством. Положение всюду стало, примерно, такое, как в Экобастуге, где блатные, которых сюда впоследствии пригнали, находились в пропорции 1:20, 1:40. Причем среди 58-ой статьи превалировали в это время не интеллигенты с 58-10, а настоящие, боевые ребята (из власовцев и бывших военнопленных).

В это время лагерных стукачей и лагерных "коллаборационистов" (бригадиров, нарядчиков) взяли "в работу" всюду и везде.

На том лагпункте, где я был, дело ограничилось избиениями, а в Мостовицах (на другом лагерном пункте) дело дошло до восстания и до смертной казни нарядчика и бригадиров. Должен признаться, что избиениям я сочувствовал.

"Как Вы, христианин, можете одобрять избиение людей?" – спрашивал меня мой друг Евгений Львович Штейнберг. На это я отвечал старой русской поговоркой, вычитанной мной у Даля: "Розга не мука, а вперед наука".

* * *

Лагерные восстания прокатились на фоне потрясений, вызванных смертью Сталина. Александр Исаевич Солженицын силится объяснить причины сталинского самовластия, и понять, что произошло после Сталина. И как всегда, когда он отбрасывает в сторону кисть, свою кисть великого художника, он становится слаб и неубедителен. Точно его подменили.

По этому поводу мы читаем следующее: "Хоть и толкуют нам, что личность, мол, истории не кует, особенно, если она сопротивляется передовому развитию, но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты, как хотела, а мы даже повизгивать не смели" (там же, стр. 280).

Да, так думали многие лагерники. А между тем ларчик просто открывался. Стоило взглянуть на

лагерных начальников. Все без исключения полуграмотные, ничем по своей психологии не отличающиеся от блатных, матерщинники, пьянчужки, часто наркоманы. Лодыри, все без исключения.

Быть дворниками – вот их настоящее призвание. И все они привилегированный слой. Хозяева жизни и смерти тысяч зрелых, неглупых мужчин и женщин, среди которых и писатели, и профессоры, и академики.

Но они "сами с усами". Что им твои профессоры. Жалованье у них профессорское. Перспективы карьеры самые блестящие. И то же самое на воле. Мог ли бы талантливейший инженер стать, будучи беспартийным, директором самого паршивенького завода? Самый лучший учитель – директором самой задрипанной сельской школы?

Нет, нет и нет!

А ведь всем этим новый класс – класс надсмотрщиков, бюрократов, жандармов – был обязан Сталину. Без него они – ноль без палочки. Он подчинил им народ, он усмирил для них непокорный рабочий класс, превратив его в стадо баранов. Он им дал возможность пользоваться всеми благами жизни и научил их, как расправляться с народом. И они могли с полным правом распевать:

"На радость нам
живет товарищ Сталин,
Наш вождь и друг,
Учитель дорогой".

Потому и не было существенных перемен сразу после смерти Сталина.

Когда-то пишущий эти строки получил лагерную десятку за прозвище, данное "великому из великих": "обер-бандит". И я сам тогда не понимал, сколько в этом прозвище правды. Он, действительно, всего лишь "обер-бандит". Главный из бандитов, обирающих и угнетающих народ.

Ну и другое. Любят люди подчиняться. Рабское чувство.

У Тургенева один тип говорит: "Я буду королем на острове". – Королем без подданных? – Подданные найдутся. Нарочно приплывут, чтобы подчиниться". Любит человек подчиняться.

Вот и подчинились "родному и великому".

И опять не обойтись без цитаты. Хорошо говорит Чехов о людях, которым надо "капля по капле" выдавливать из себя раба.

И первыми стали "выдавливать из себя раба" лагерники в Экибастузе, о которых пишет Солженицын.

Скрупулезно, с добросовестностью историка, Александр Исаевич Солженицын анализирует все этапы восстания. Начальная степень – рассеивается страх. Появляется решимость, воля к борьбе. Потом иллюзии, что можно что-то решить путем переговоров. Колебания. Но сила возрастает. Наращивание силы с обеих сторон. И трагический конец:

"Генерал Деревенко отходит в сторону и дает команду: "Огонь!" По толпе.

Три залпа, между ними пулеметные очереди. Убито 66 человек.

(Кто же убитые? – передние, самые бесстрашные, да прежде всех дрогнувшие. Это – закон широ-

кого применения, он и в пословицах). Остальные бегут. Охрана с палками и прутьями бросается вслед, бьет зэков и выгоняет из зоны" (там же, стр. 284).

И потрясающая 12-ая глава. "Сорок дней Кенгира". Глава, которая переживет века, которая будет проходиться в школах, когда не только никого из нас, но никого из наших ближайших потомков на свете не будет.

Это не только глава о зверском произволе чекистов, но песнь о воле человека. Повесть о том, как люди восстали, стояли насмерть и пали, находясь в безнадежном положении, понимая, что их восстание не имеет никаких шансов на успех.

Это было в 1954 году.

Солженицын очень правдиво передает настроение этих лет. После некоторого периода растерянности в 1953 году (после смерти Сталина и расстрела Берия) положение, казалось, стабилизовалось. Кагебисты воспрянули духом. Сверху шли успокоительные инструкции. Был зверски подавлен мятеж в Берлине. В то же время и заключенные стали другие. Новых арестов не было. Изредка происходили освобождения по жалобам 58-ой статьи. (При Сталине об этом и думать забыли). И в то же время в воздухе носились смутные ожидания чего-то. Обе стороны (заключенные и "псарня") окопались, ожидали перемен. И вот грянул кенгирский мятеж.

Автор правильно отмечает, что в какой-то мере его спровоцировало начальство. Кагебисты решили, что все стало на свои места. Пора зажимать вновь в ежовые рукавицы. Начали вновь постреливать с вышек. В феврале 1954 года был убит верую-

щий старик ("евангелист" – русская разновидность баптистов). Попытка к побегу была исключена: из своего срока – 10 лет – он отбыл 9 лет и 9 месяцев.

Это послужило поводом к началу мятежа.

"Братцы! До каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!" (Там же, стр. 288).

На следующий день всеобщая забастовка. Начальство всех посадило на голодный паек. Далее драматическая история. В ней много перипетий. Нет смысла рассказывать обо всем подробно. Тут и зверские подавления. Тут и массовая голодовка. И все это описано с такой яркостью, что пересказать здесь ничего нельзя. Надо выписать всю книгу. Укажем лишь несколько основных моментов.

Прежде всего – "война рождает героев, революция рождает вождей".

Кульминационный пункт мятежа: 18-19 мая 1954 года. Безоружные люди прошли подкопами в соседние лагпункты, и превратили их в единый двор. С вышек перестали стрелять. Первая победа.

Появляется два типа вождей: Капитон Кузнецов и Глеб Слученков. Если бы писатель хотел что-то выдумывать, он не мог бы и в этом случае дать столь типичных представителей революции. В каждой революции всегда и везде – два типа: жирондисты и якобинцы. Мирабо и Дантон с одной стороны, Робеспьер и Марат – с другой. В русском революционном движении XX века стороны были представлены кадетом Милюковым – с одной стороны, эсерами – с другой. В русской социал-демократии Мартов с одной стороны, Ленин (впоследствии и Троцкий) – с другой.

Капитон Кузнецов "солидный человек". Бывший полковник Красной Армии, выпускник Фрунзенской Академии, уже в годах. Он стратег мятежа. И в то же время, так сказать, "министр иностранных дел". Сторонник уступок, переговоров, компромиссов.

И рядом Глеб Слученков — бывший старший лейтенант, военнопленный. Это народный трибун, вождь, душа мятежа. Слученков — самородок. Его выдвинула народная война. Выплеснула наверх. Он умеет зажигать массы. Командовать. Повелевать. Он в то же время реалист. Беспощадно подавляет попытки раздробить мятеж. Грозит высечь тех, кто пытается разжечь национальные разногласия. Железной рукой направляет мятеж. Неизвестна его судьба. Вероятнее всего, пал смертью храбрых от чекистской пули. Но умирая, с полным правом мог сказать:

"Я сделал, что мог. Кто может сделать больше, пусть сделает".

Сделаем и мы все, что можем. А в будущем социалистическом революционном движении России (а никакого другого широкого движения в России не может быть и не будет) Глеб Слученков будет примером революционной отваги и революционного героизма.

Кенгурский мятеж был подавлен, хотя в результате его был ряд уступок со стороны администрации лагеря. Победой он, конечно, кончиться не мог. Солженицын в конце главы цитирует стихи Бернса:

”Мятеж не может кончиться удачей,
Когда он победит —его зовут иначе”.

Известный русский эмигрантский философ Борис Петрович Вышеславцев говорит несколько иначе:

”Революцию, когда она не нравится, всегда зовут контрреволюцией”. Но мы можем теперь же восстановить лагерным мятежам 1954 года их подлинное название: революционное восстание рабов, прообраз великой русской революции, которая сотрет в прах навеки все застенки, темницы, политические лагеря.

ЖИРОНДИСТКА
(ТОМ ШЕСТОЙ ”АРХИПЕЛАГА”)

Французский революционный поэт – участник Парижской Коммуны, Жюль Валлес осчастливил своих читателей следующим четверостишием:

”За работу гильотина,
Час расплаты близко.
Ссылка —это середина,
Ссылка – жирондистка”.

(См. Жюль Валлес: ”Воспоминания инсургента”, Academia, 1932 г.) .

Ссылке в советских условиях посвящен шестой том исследования ”Архипелаг ГУЛаг”.

Что можно сказать о ссылке в советских условиях? Советский бюрократ изобретателен. Он сумел

"жирондистку" переделать в такую "якобинку", что все на свете мастера террора могут позавидовать.

Александр Исаевич Солженицын рассказывает о том, как в 50-ые годы люди боялись освобождения из лагеря больше, чем второго срока. Это я могу подтвердить. Отец во время лагерного свидания (это было в 1952 году) у меня спросил:

"Что ты думаешь делать дальше?"

– Да ведь мне надо сидеть еще семь лет.

Тогда отец с горькой иронией спросил: "И это тебя успокаивает!" В ответ я промолчал. А если бы отвечал вполне искренее, сказал бы: "Да, успокаивает".

Мой друг Павел Макарович Гладкий, просидевший 20 лет в лагерях, тоже с неохотой говорил о предстоящем освобождении. Я смотрел на него с недоумением. (Я еще тогда только начинал "разматывать катушку"; еще недавно прибыл в лагерь).

Макарыч сказал: "Меня затиснут в телячий вагон вместе со шпаной и повезут в какую-нибудь дыру, в Заполярье. И выбросят на снег. Уж лучше здесь сидеть".

А мой большой друг Ираида Генриховна Бахта (аристократка – урожденная баронесса – барерина), когда после лагеря прозябала в Средней Азии вместе с ослепшей сестрой, говорила: "В лагере было легче. Мы шли десятки километров в пургу, по снегу, но все-таки знали: приведут в лагерь и накормят. А здесь я не могу ни себя, ни сестру ни согреть, ни накормить".

Александр Исаевич Солженицын очень подробно рассказывает о своих перипетиях после освобож-

дения. Выходило, что свобода еще хуже лагеря. Правда, в конце концов он сумел пристроиться. Он стал учителем, он получил возможность писать. Но чего это все стоило: сколько унижений, оскорблений, издевательств, и над всем нужда, нужда, нужда. Неизбывная и безысходная.

В главе 2-ой Солженицын приоткрывает завесу над той страшной драмой, которая неведома нам, горожанам, и которая пронеслась над Россией в 1929-32 годах.

Писатель называет эту главу "Мужичьей чумой". Быть может, правильнее (хотя и избито, звучит и высокопарно) назвать эту главу "Мужичьей Голгофой". Правильнее – ведь в чуме никто не виноват, а здесь, как на Голгофе, были палачи и извлекавшие из этого выгоду, и мы все прислужники палачей, которые грелись у костра, "от них же первый есм аз".

Несчастный учителишка "литературы", штудировавший с учениками "Поднятую целину" и глумившийся над несчастным русским крестьянством. Как правильно говорит Александр Исаевич Солженицын, им всем особенно не повезло. О нас хоть знают, хоть пишут. А те все бесследно исчезли, не умели ни писать, ни рассказать о себе, несчастные работяги. А сумели бы, что толку, – никто бы, ничего бы все равно бы не издал. В этой же главе гимн русскому народу, его умелости, его трудовой сметке, его неисчерпаемым талантам.

Снега, голод, произвол. Миллионы переморили. Но те, кто выжили, и здесь не пропали. И возникли в тайге новые села, новые поселки, новые города.

И еще одна черточка чисто русская: непамятозлобие. Все забыли и все простили. И второе поколение уже ничем не отличается от обычных советских людей, и даже (о непроходимая русская доброта!) добром вспоминают палача и изверга.

Народ богоносец? Нет. И тут становлюсь я Иваном Карамазовым и говорю: "Не смеешь прощать и забывать! Не смеешь! Ради твоих детей! Ради своей страны!.."

Пусть эта глава Солженицына хоть напомнит тебе о том, что было!

И потом о ссылках народов, о том, как карали за то, что люди жили на оккупированных территориях. О замечательном русском инженере Васильеве, не избежавшем лагерных мытарств, а потом ссылки.

Когда-то Алексей Константинович Толстой, автор известной повести о временах Иоанна Грозного "Князь Серебряный", рассказывал, что когда он писал о временах Грозного, перо выпадало у него из рук не потому, что мог существовать такой тиран, как Грозный, но при мысли, что могло существовать такое общество, которое могло терпеть Грозного.

Такое же чувство возникает и при чтении этих глав "Архипелага". При таком разбое, и нигде, никогда ни малейшего признака возмущения. Хорошо вышколили русский народ русские властители, начиная с Грозного. И единственное светлое пятно на этом фоне неизбывного рабства – чечены. Вольный, гордый народ! Единственные, кого не удавалось сломить. Они жили своими традициями, своими

обычаями. Плевали в морды чекистам. И те не могли ничего с ними сделать и побаивались их.

Спасибо вам, чечены, и низкий вам за это поклон!

И НЕ ТОЛЬКО ЧЕЧЕНАМ (ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ "АРХИПЕЛАГА")

И оказывается, не только чечены. В части седьмой Александр Исаевич Солженицын первым описал Новочеркасский мятеж. Мятеж? – Нет, не мятеж: Новочеркасское "Кровавое воскресенье" – зверский расстрел рабочих.

Описано все с необыкновенной яркостью, не забыта ни одна деталь, – ту и героический порыв рабочих, и зверская расправа, и снова, снова смелость: трижды вновь и вновь собирались рабочие.

И такие же события в Александрове.

И я могу дополнить еще. В 1956 году я вернулся в Москву из семилетнего заключения. Москва. Реабилитация. Возвращение в школу. Нелегальная работа в "Журнале Московской Патриархии". А летом 1957 года, наконец, выбрался в родной Питер.

И "на ловца и зверь бежит". Питер – весь под впечатлением последних событий.

На стадионе им. Ленина у Тучкова моста.

В июне был там спортивный праздник. Все трибуны переполнены. И конечно, милиция.

Вдруг из публики пьяненький сошел с трибун, пошел не туда, куда надо, а к арене. На него набросилась милиция. И чего стесняться в своем отечестве – сбили его с ног и начали лупить.

Публика повскакала с мест, бросилась на милицию. Отважные блюстители порядка бежали, как стадо баранов. (Они очень смелые только тогда, когда пятеро на одного, в камере). Спортивный праздник сорвался.

Экстренно звонят в Москву: "Как быть?" Оттуда ответ: "Разгонять! Если не удастся, стрелять!"

К счастью, обошлось без выстрелов. Вызвали курсантов. Те оцепили стадион. Сняли с себя ремни, стали лупцевать медными добротными пряжками. Таким образом сдержали напор толпы, разогнали. Но в районе, прилегающем к стадиону, до поздней ночи бушевала толпа.

Не здесь ли Фрол Козлов, стоявший во главе Ленинграда, набрался опыта, который пригодился ему в Новочеркасске?

Что это? Мятеж? Репетиция мятежей? Нет, это приоткрылся завтрашний день. Как пела детвора в 20-30 годы: "Будет и там "Броненосец Потемкин", но только с победным концом". Придут вновь и Новочеркасск и Ленинград, но только с победным концом.

* * *

И наконец, заключительная часть. О лагерях. О политических процессах мы уже писали. Что сказать о теперешних уголовных преступниках? Настоящих уголовниках? Отпустить их на волю? Нет, это значит мирных людей не жалеть. Создать в лагерях курорт! Ну нет! Так что же?

Как всем известно, я не являюсь сторонником

старого русского строя. *Я эсер*. Сторонник русского истинного социализма. Но было и в старой России нечто положительное. Все лучшее, что было, связано с эпохой Александра II. Царя-освободителя. И при всем уважении к героям Народной Воли – к Каракозову, Степану Халтурину, Софье Перовской (это моя любимая героиня с детства), Андрею Желябову, Кибальчичу и Рысакову, – не могу не сказать: "Истина выше дружбы!"

Александр II – лучший из государей не только русских, но и во всей Европе, и убийство его было величайшим несчастьем для России. И среди его дел – быть может, величайшее: 12 томов законов Российской Империи. И их можно восстановить целиком и полностью. И они дают точный критерий: кто преступник. И санкции там правильные и гуманные. И самое главное – "суд присяжных"! И даже Ульянов-Ленин вынужден был признать, что "суд присяжных является величайшим завоеванием народа". Он хотел его восстановить. Но как его восстановишь? При существующем строе суд присяжных? При телефонных звонках из райкомов и горкомов? При партийных установках? Нет, чтоб был суд присяжных, подлинно независимый суд, скорый, правый и милостивый, нужен демократический строй. Надо навсегда покончить с партократией, с эксплуататорским строем.

А для этого нужна *революция*.

Нужен новый февраль, которого так боится и так не хочет Александр Исаевич. А только таким путем может восторжествовать на Руси право. И опять, и опять: "В борьбе обретешь ты право свое!" Рево-

люционное, народное право. Оно не имеет ничего общего ни с советской тиранией, ни с американским, буржуазным миндальничанием с преступниками.

Никаких освобождений на поруки. Никаких поглаживаний по головкам. Виноват, плати. Вор – полгода строгого заключения. Воровство со взломом – до четырех лет. Убийца – каторга.

Но "лучше пусть останется безнаказанным 10 преступников, чем пострадает хоть один невинный". Суд скорый, правый и милостивый. Такова справедливость. Таков русский суд!

А Исаичу, описавшему все беззакония и всю неправду советского строя, за "Архипелаг ГУЛаг" земной поклон!

Итак, мы (худо ли, хорошо ли) сделали обзор всего творчества Солженицына. Что сказать в заключение? Поклонники (и, скажем в скобках, идолопоклонники) Солженицына сравнивали его с Толстым и Достоевским.

Я сравнил бы с Гоголем. Конечно, не всегда и не во всем. Я говорю не о таланте. Хотя талант Солженицына в чем-то сроден гоголевскому. Конечно, он не создал типов такой огромной, обобщающей силы, как Гоголь. Но его "русскость", метафоричность, монументальность почти как у Гоголя. И роль, им сыгранная в истории России, почти гоголевская. Гоголь – основоположник новой школы. Новой эры. "Гоголевский период русской литературы" – полвека: от тридцатых до восьмидесятых годов.

Тургенев, Гончаров, ранний Достоевский, Некрасов, Островский, Писемский, Мельников-Печерский, Лесков – все это Гоголь. Гоголь в разных

ипостасях. Лишь Толстой и Достоевский открыли новую эпоху. Солженицын тоже открыл новую эру. Из затхлой советской псевдо-литературы сделал шаг – в бесконечность.

И потянулись за ним,

После Солженицына, как после Гоголя, нельзя писать по-старому. Новая эпоха, новая полоса. И, как у Гоголя, – полная самоотдача. Он весь в творчестве. Не знает ничего другого.

* * *

"Если же за всех мог
Направлять потоки явлений,
Мы говорим: пророк,
Мы говорим гений".

Это Маяковский о Ленине. Это можно сказать и о Солженицыне (недаром же находили у него сходство с Лениным – во всяком случае с образом Ленина в солженицынском фрагменте).

И Гоголь был гений. В этом его бессмертие и его гибель. Ему мало было нарисовать Россию, какой она была. Он хотел "за всех направлять потоки явлений". "Мертвые души" должны были стать "Божественной комедией" Руси. Показать ей путь. Но не смог. И потому "самосожжение" и смерть.

Я менее всего хочу предсказывать Солженицыну такой конец. Дай Господь ему выйти на широкую, светлую дорогу. И победно закончить! Но пока уж слишком напоминают Гоголя его рывки, судорожные порывы, уход в себя – раздраженный, не-

приятный тон его выступлений. Раздраженный, за которым что? Уж не комплекс ли недостаточности? И публицистика Солженицына. Это самое неприятное в моих воспоминаниях.

Последние месяцы в России. Сообщение об аресте и высылке за границу Солженицына.

И примерно в это же время радио приносит его "Письмо вождям Советского Союза". Это письмо меня поразило и огорчило. Я написал ответ. Ответ, как мне кажется, в основном верный, хотя и недостаточный и спорный. Не буду говорить сейчас о нем. Не время. Скажу вкратце, что меня отделяет от Солженицына.

Он против революции, он против немедленного перехода к демократии. Он против Февраля. А я за Февраль! Я всегда был ярым приверженцем Февраля. Стремлюсь всем сердцем к тому чудесному полувесеннему Февралю, который идет, приближается. И до которого мне не суждено дожить.

Февраль – это, когда народ вступает в права, шумит, бурлит, все сметает на своем пути. Буйствует. Но это буйство весеннее, молодое. Ломает, очищает место, – придут новые формы, новая жизнь.

И сейчас в России народ пробуждается, мужает, постепенно пьянеет от ветра, ветра свободы, который веет из будущего. Как писал покойный Юрий Галансков:

"Вставайте, вставайте, вставайте,
Алая кровь бунтарства.
Идите и доломайте
Гнилую тюрьму государства".

И во всем мире так. И в Европе, и в Азии, и в Америке. Трещит на человеке старая рубашка по всем швам. Все более дряхлеет "гнилая тюрьма государства". И вот она уже в развалинах. Тьма. И топот вдали.

В.Е. МАКСИМОВ

ТОПОТ ВДАЛИ

Чтобы расслышать топот вдали, надо приложить ухо к земле. А трудно это нам —литературщикам. Мы и земли-то никогда не видели. Где нам, горожанам, чернильным душам? Вся жизнь за тетрадкой. Сначала в школе, потом в Институте, потом на "службе"

На службе — у кого? Зачем? Не знаю. Но с детства привыкли: "Папа ушел на службу!" "Папа пришел со службы"! Папа в командировке "по служебным делам". "Папа переменил службу..." "Папу хоронили — со службы принесли венок". А кто это там впереди идет за гробом? "Это с папиной службы".

* * *

И вот человек не на службе. Максимов. Владимир. И без паспорта. Кто он? Откуда?

Однажды парижская дама, родом княжна, решила поздравить его с Днем Ангела. 28-го июля — князь Владимир. Все Володьки в этот день именинники. Поздравила. А он и не Владимир. И не Максимов. Кто же он?

Начиная эту главу, хотел позвонить ему по телефону. Спросить. Раздумал. Пусть так и останется в моем сознании. Беспаспортным бродягой. Колоритнее.

И вот, первое, что он написал. 1-ый том. Здесь автор переходит в героя. Герой напоминает автора. Его воспитание: "Михейку жестоко секли. Сек отец. Сек с оттяжкой, по лошажьи всхрапывая при всяком ударе и приправляя экзекуцию словцом к словцу:

— Значит, в бега? Получи поперек... Сам себе голова, значится? Еще... Значится, по батькиным карманам шарить? Получай теперь вдоль.

До боли в скулах — закусывая край рубахи, Михейка молчал.

Накануне он почти двое суток отсиживался с прихваченной на дорогу отцовской мелочью в приморских пещерах, но преданный слободскими дружками, был выволочен из своего убежища, и жестоко бит теперь. Михейка переносил порку, как и подобает родовому биндюжнику, молча. Но гордая, дерзкая мысль о другой жизни и другой земле, от каждого удара только утверждалась в нем".

(В. Максимов. Собрание сочинений. Том 1-ый. "Стань за черту", стр. 195, "Посев", Франкфурт, 1975 г.).

А ведь символический отрывок. Порка — исконная русская процедура: всегда была, пока Русь стоит. И сейчас ее не занимать стать: и в армии, и в тюрьмах, и в быту. И когда-то Савинков, сидя на Лубянке во внутренней тюрьме, писал: "Есть все та

же всероссийская, всемужицкая порка". (См. Борис Савинков. "Конь вороной", Москва, 1924 г.).

Порют, порют русского мужика, а он все мечтает. "Но гордая, дерзкая мысль о другой жизни, о другой земле от каждого удара только утверждалась в нем".

И Октябрьская революция отсюда – не на немецкие деньги и не от усталости. От мечты. И тот, кто ее навеял, не шпион и не антихрист. Он чисто русский человек с раскосыми глазами. Азиат. Независимо от того, какой был у него дедушка. Кремлевский мечтатель.

Характерно. Все герои Максимова всегда куда-то идут, куда-то едут. А кругом непогода. Тьма. Леса непроходимые. Реки разливаются. Или мороз. Такова его первая, или во всяком случае одна из первых повестей: "Мы обживаем землю". Характерен эпиграф из Горького: "Знаю ли я людей". Ранние произведения Максимова перекликаются с ранними произведениями Горького. Герои – босяки, изгои, бродяги. И все, как у Горького, люди сильной воли, звериной хватки, и где-то на донышке лирика, теплота. Это, впрочем, не единственное, чем Максимов перекликается с Максимом, редактор "Континента" – с Председателем Союза Советских Писателей. Но о том речь впереди.

"Пятый день подряд по крыше нашей палатки шарят дожди". (Там же, стр. 5). Так начинается повесть "Мы обживаем землю". Это где-то далеко, далеко, – на краю земли. И в палатке люди, завербованные в экспедицию. И их четверо. И уже с первой страницы дуновение огромного таланта. Впечатляю-

щие, колоритные образы. Димка Шилов. Из амнистированных. Флегма. Полная инертность. Не разговорчив. Как кажется, ни одной мысли в голове. Только и умеет, что спать и сосать водку. Подождите! Этот белесый мужик – африканец. Он способен к огненной страсти. Он влюбится до самозабвения. Он влюбит в себя дошлую, страстную бабенку. Он убьет соперника. И сам умрет среди лесов, оплаканный влюбленной в него бабой.

И это так правдиво и так понятно каждому, кто знает русского человека, русского мужика, – у которого под прозаической внешностью всегда клокочущая, испепеляющая страсть, умение увлекаться до самозабвения, и быть великодушным до самопожертвования, и быть жестоким до зверства.

"А смотри, я все деньги сегодня отдал погорельцам", – сказал мне однажды, сам себе удивляясь, мой друг, только что перед этим избивший до полусмерти свою бабу, в которую влюблен был без памяти.

"За что-то же я все-таки тебя люблю, не за твое же хамство", –ответил я.

И в самом деле, можно ли не любить Димку Шилова? Большого ребенка, одного из тех, "к именам которых серьезная степень не приживается до старости".

И рядом Тихон. Молчаливый, но хозяйственный. Вечно чем-то занят. Обшивает мешок карманчиками. О чем-то хлопочет.

Замкнутый. "... разговаривать с ним, что у скупща кредитом пользоваться, разве лишь по необходимости" (там же, стр. 6).

И тоже исконный русский тип. Уходит, обреченный на голодную гибель из палатки, сказав молодой бабе, которая лежит в последней стадии беременности: "Ухожу, а то смердеть начну, – кто меня вынесет? Тебе не осилить".

И снова русский характер. Начальник Колпаков. Мужик властный, драчливый – и посылающий главного героя вперед на лодке, а сам остающийся на берегу умирать.

Удивительная вещь – талант. Напиши это какой-нибудь Кочетов (товарищ Максимова в начале его деятельности), получится плосковатая дрянь, тысяча первая вариация на тему "О русском характере" в ура-патриотическом духе. Но пишет человек большого таланта. И ни малейшего сомнения ни в чем. Да, так оно и было: такие вот, грубоватые и хамоватые и угрюмо молчаливые, – брали штурмом города, и грабили, и баб насиловали, и самоотверженно выносили товарищей из огня, и последней крохой хлеба с товарищем делились.

Помню одного парня – власовца, получившего 25 лет. Рассказывал: "Я горячий. С братом поругался. При всей родне вилкой ему рожу исколол. А я за него душу отдам".

Помню, однажды в Каргопольлаге разговорился я с ребятами, – так расчувствовались. Когда стал ложиться, отдал мне один из них телогрейку: "Укройся, а то смерзнешь". А утром получил я передачу. Глянул: банки-то с маслом нет. Стибрили. И эти самые ребята. Больше некому. Но я не смутился: подошел к главному из них. У него тоже масло. Вынул я у него из тумбочки. Намазал на хлеб. Стал

есть. Интеллигент-инженер: "Вы с ума сошли". А ребята ничего. Только улыбаются. Таковы и герои повести "Мы обживаем землю".

Сам главный герой повести, от имени которого ведется рассказ, человек из их же среды, и сильно отравленный интеллигентщиной, хлебнувший культуры, пишет в начале повести письмо своему мэтру – преподавателю детдома:

"А люди! Господи, я плевал на героев, героев выдумывают плохие писатели, но хотя бы одна уважающая себя особь. Язык не поворачивается сказать о таких: "Борются за существование". Они не борются, они просто-напросто копошатся в собственной грязи, посильно оттирая ближнего своего от корыта бытия. Семейное сожительство называется у них любовью, житейская изворотливость – мудростью, павианье чванство – гордостью" (стр. 9).

Это письмо отправлено не было.

Конец повести: автор письма Виктор Суханов, единственный оставшийся в живых мужик из экспедиции, возвращается в палатку, где лежит тоже оставшаяся в живых, пережившая двоих любовников, беременная баба.

Разговор со стариком Зотовым, разжигающим печку: "С холода щепа загорается плохо. Я шарю у себя по всем заначкам в поисках бумаги, и натыкаюсь во внутреннем кармане робы на письмо, написанное, но так и не отправленное мною из Верхнереченска. Я бросаю его старику. – Этим сподручнее. Свертывая бумагу в трубку, Зотов осведомляется: – Смотри, может, нужное что? Я твердо говорю: "Нет!"

— Что ж, это и правда. Ведь письма – не жизнь, их можно переписать заново. (Там же, стр. 41).

Правильно, Витька, сволочь, копошащаяся в грязи, оказалась героями. Но переписывать письмо не спеши. А то, не ровен час, герои вновь окажутся сволочью, копошащейся в грязи. Так и должно быть. Такие и обживают землю.

"И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем: Не буду больше проклинать землю за человека – зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся". (Книга "Бытие" 8, 21-22).

ДЕНЬ И НОЧЬ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ

День и ночь. Явь и бред. Бред наяву. Явь в бреду. Так в рассказе Максимова "Жив человек".

Повесть интереснейшая и оригинальнейшая. Прежде всего – по композиции.

Мужика подобрали где-то в тайге с отмороженными ногами. Он лежит в больнице. Вокруг него сестры. Санитарки. Парень, который едет за хирургом. Буран. Все в волнении. Беспокоятся о враче. Беспокоятся о парне. Дежурная сестра – его возлюбленная, невеста. Беспокоятся о больном. Если доктор вовремя не приедет – у него будет гангрена, – придется оттяпать обе ноги. А больной все время впадает в забытье. В забытье – вся его прошедшая, полная злоключений, бурно прожитая жизнь. И наконец, развязка. Доктор приехал. Больному, от имени

которого ведется рассказ, сделали операцию. Ноги спасены. Но парень, отправившийся за хирургом, попал в буран. Погиб. Привозят его мертвое тело. Погиб из-за него.

И вдруг, в порыве отчаяния, сожаления – выклик. Он признается, что он беглый. Бежал из заключения. И открывает фамилию: "Сергей Царев". Он бывший военнопленный. Следовательно, "изменник" по официальной терминологии. Ему не сдобровать. Зверски изобьют и вернут в лагерь. И дадут дополнительный срок за побег.

По четкой и ясной композиции, по яркости образов, законченности – это один из лучших рассказов Максимова. Он достоин занять место в истории русской литературы.

Перед нами жизнь нашего современника. Современника тех, кто начал жить в предвоенное время, кто пережил войну, сталинские лагеря.

Самое раннее воспоминание: арест отца. Кажется, трудно сказать что-либо новое на эту тему. Но удалось не сказать, а показать. Отца, нога которого никак не попадает в башмак. Мать, которая, стоя у шкафа, дрожит мелкой дрожью, и солдатик, который поправляет сползающее одеяло у мирно спящего ребенка (сестренка героя, от имени которого ведется рассказ) ; а на полу валяется семейный альбом.

На другой день. Признание девочки, которая сидит с сыном арестованного на одной парте, что мама ей не велела вместе с ним ходить. И натянутая ласковость учителя (как ребята этого не любят –

ребенок инстинктивно чувствует фальшь). Он убегает из школы.

И вся жизнь такая. Неудачи. Катастрофы. И ненависть еще в детстве: "С сегодняшней ночи (после ареста отца) враги для меня — не маски с книжных страниц и киноленты, а зримые, осязаемые люди. Это все те, кому дано право обыскивать, уводить, ставить отметки, требовательно свистеть на перекрестках, заставлять расписываться в получении.

"Я ненавижу их всех, вместе с их кокардами, бляхами на фартуках, разноцветными околышками и нарукавными повязками. Во мне просыпается исступленное желание противостоять этой силе, и я мысленно кричу: "Не хочу! Не желаю! Идите вы все к черту!" (там же, стр. 48). Здесь ставим не точку, нет, многоточие...

Несколько месяцев назад г. Максимов напечатал в газетах свой проект будущей русской конституции:

Авторитарное государство. С куцей конституцией. Совет с совещательным голосом. Умеренный консерватизм. Что-то вроде булыгинской Думы. Даже до правых октябристов не дотянулся. Кому же все это предлагается? Сережке Цареву? А ведь таких царевых — 50% русского населения. И самая активная часть, на которую мы все только и можем надеяться.

Не выйдет! Грохнет Царев за такие проекты по морде, да как заорет: "Не хочу! Не желаю! Идите вы все к черту, давайте мне волю! Землю и волю! В борьбе обретешь ты право свое!"

* * *

И далее. Рассказ "Дорога". Рассказ большой силы. Вероятно, он писался в России. На первый взгляд, ничего особенного. Действие происходит на строительстве, где-то в сибирской глуши. Тундра. Из Москвы получен приказ – законсервировать строительство на неопределенное время. Быть может, навсегда.

Самое обыкновенное происшествие. Но для тысяч людей это катастрофа. Писатель чужд эмигрантских трафаретов: все советское показывать в отрицательном плане. Яркими красками он показывает трудовой энтузиазм. Противное слово, опошленное газетчиками, – но правдивое слово: оно правильно отражает подъем в работе у многих советских людей. И начальники обрисованы отнюдь не черной краской. Среди них есть самоотверженные работники, вкладывающие в свое дело душу, не спящие ночей, глубоко верующие в идеологию коммунизма. И все эти силы устремлены – куда? зачем? Для того, чтоб построить дорогу, которая никому не нужна, строительство которой признано ошибкой, – и в этом глубокий символ рассказа.

Советский строй имеет много энтузиастов, людей, которые не жалеют сил, трудятся не за страх, а за совесть; но зачем, для чего? Чтоб советские нувориши стали еще более богатыми? Чтоб советские милитаристы организовали бы еще одну военную экспедицию? в Афганистан, в Анголу, на Сальвадор? А потом что? Для чего это? Тупик. Как назвали русские переводчики один из романов знаменитого

французского писателя Мориака: "Дорога в никуда"*. Так об этом говорится уже на первой странице рассказа. Два опытных пожилых человека, которые всю жизнь строили (начальник экспедиции и его заместитель, – старые строители дорог).

"И хотя Башкирцев, а тем более Иван Васильевич, вложив в дорогу самую последнюю, самую зрелую свою силу, имели жестокое право на обиду, они бы все же смирились, если бы им перед тем не доказали страшную, чудовищную бессмысленность их дела. *Дорога не вела никуда, дорога была никому не нужна.* И теперь им оставалось только молчать: цифры и выкладки были сильнее эмоций. Но тут-то для них и начиналась бездна. Их души захлестывала иная боль – властная и пронзительная, – от которой под сердцем жгло почти нестерпимо" (там же, стр. 114).

Иван Васильевич, заместитель начальника, объезжает свои "владения". Строительство железной дороги растянулось на много десятков километров. И он едет все дальше, в глубь Тайги.

Разнообразные типы. Яркие типы. И без натяжек. Все правдиво. Разговор за картами двух мужичков. Старого и молодого. Молодой старого называет гадом. Тот соглашается. Циник. Любит деньгу. И все гады. Но вот доходит до бывшего майора, участника Отечественной войны. Мол, тоже гад. И здесь неожиданно вспыхивает молодой парень: "Где ты был, хмырь болотный, когда майор в окопах

---

* У Мориака роман называется "Дорога к морю".

вошь кормил? Где ты, гад, был, когда майор три раза тонул и пять раз горел?" (см. стр. 117).

Правильно. Романтика у советского человека — это Отечественная война. Все. Ничего больше не осталось. Отсюда и культ Сталина, сохранившийся в народе: он выиграл войну.

"Я читаю только про Отечественную войну", — слышал я в лагере на Сычевке фразу из уст такого же молодого парня, заключенного.

Отечественная война. Все остальное не волнует. Ленин, романтика революции и гражданской войны, отошло куда-то в историческую даль. Туда, к Суворову и Кутузову. Почтенно, но архаично. А годы 1941-45 врезались крепко. Отцы там погибли, матери о том рассказывали, сами немного (кто постарше) упомнили.

Максимов находит неожиданно хорошие слова (откровенно говоря, не ожидал от такого сумрачного человека), чтоб определить главное качество русского человека: его оптимизм и работоспособность.

"А Иван Васильевич думал о том вечном, добром качестве русского человека, умеющего строить планы и надеяться несмотря ни на что, что на каждом шагу ему противостоят обстоятельства, абсолютно не зависящие от его воли: войны, пожары, болезни и наводнения, неурожаи и распоряжения свыше. Пусть не получит на этот раз какая-то далекая Марья или Дарья ни на крышу, ни на платье, ни на пряники пацанам, даже, если этому парню придется двадцать раз обмануться в своих расчетах, он землю есть начнет, а в конце концов, в двадцать первый, все же будут у его далекой Марьи, или Дарьи и кры-

ша, и платье, и пряники для пацанов" (там же, стр. 119).

Будут! Все будет! И Россия будет самой яркой демократией земли.

Большой интерес представляет разговор Ивана Васильевича с Каргиным, председателем рыболовецкого колхоза. Каргин – простой русский человек, исходит он не из надуманных схем и отвлеченных доктрин, а из практики. И практика его приводит к самому главному, что не принимается в расчет советскими руководителями. И здесь две точки зрения: Ивана Васильевича, коммуниста, "руководящего товарища", неглупого и неплохого человека, но все же представителя официальной партийной линии – и самого что ни на есть простого человека, сибиряка.

"А суть, – сказал Иван Васильевич, и сам не узнал своего голоса, до того он был сухим и жестким, – в том, что кроме наших причитаний, существует объективная необходимость. Упрямая, Каргин, штука. Никуда от нее не денешься. Тебе больно, мне больно, тому, кто закрывает, тоже, наверное, больно, а закрывать надо. Надо – и все тут. При государственном планировании слезы в расчет не берутся" (стр. 123).

Здорово! Здесь рамки повести необыкновенно раздвигаются. Тут весь марксизм. Маркс, у которого по словам от. Сергия Булгакова в последней главе тома I "Капитала" – буржуазия и пролетариат – как бы всадники в железных масках, без всяких индивидуальных особенностей ("наших при-

читаний")*, он же в споре с Бруно Бауэром, Штирнером ("Немецкая идеология"), он же в споре с Прудоном ("Нищета философии"), Ленин в споре с Николаем Константиновичем Михайловским ("Друзья народа и как они борются с социал-демократами"), Сталин в споре с Бухариным, Рыковым, Томским ("Вопросы ленинизма"). Всюду одно и то же: ссылки на "объективную необходимость" и "сатрапья твердость, мнущая тебя под вожжи триумфаторской коляской".**

И ответ Каргина: "Должны браться!" – вскочил и снова заметался по горнице Каргин. Сухой и взъерошенный, сейчас он был похож на птицу, случайно загнанную в помещение.

"А как же, Иван, родной? Ведь сначала сверху, потом посередке, а потом на каждого распределяется – выполняет. А как же он, этот самый каждый, будет выполнять, когда у него бед полная кошелка, ему бы расхлебать, не до плана... И пошел наш план обратным ходом – один не сделал, середка не дотянула, в целом прогар"...

Что же отвечает на это Иван Васильевич, представитель официальной государственной линии?

"Что ж, пожалуй, двинусь, Ильич. Думаю, проводишь до поселка, по пути и договорим" (там же, стр. 124).

В конце главы обмен репликами: Каргин, вдруг оттолкнув его и отвернувшись, зло молвил: "Зря не поговорили". И здесь, за минуту перед про-

---

* См. Сергей Булгаков "Два града".

** В.В. Маяковский "В.И. Ленин".

щаньем, Иван Васильевич не посмел покривить душой перед человеком, который ждал от него важного, нужного для себя слова, но так и не дождался.

"Зря", – коротко сказал он, и еще раз утвердил: "Зря". Сказал и шагнул в лес, и лес раздался перед ним (там же, стр. 125)..

И зря и не зря.

С точки зрения личной: "не зря", ибо, если согласиться с Каргиным, надо отвергнуть весь советский строй, положить партбилет и... прямая дорога в Лефортово, в тюрьму.

И "зря": ибо к другому выводу, чем Каргин – конкретный, реальный человек должен быть на первом плане – придти нельзя. Банкротство колхозной системы, деградация хозяйства, перерождение советского строя в фашистский, глубоко антинародный строй, начавшееся в 1930 году. – Что может на это сказать честный человек? Промолчать или согласиться с Каргиным.

И наиболее честные коммунисты с Каргиным соглашаются: "Мы, молодые коммунисты, думаем так", – сказал мне незадолго до моего отъезда из Москвы молодой парень из очень ответственного учреждения, выразив каргинскую точку зрения. И эти коммунисты еще скажут в ближайшее время свое слово. И нам, русским социалистам и революционерам, с ними по пути.

И дальше: лес, лесные люди, хорошая русская баба Васена, человек Божий, какой-то вроде старца. И здесь стоп. Не везет Максимову со старцами. Не здесь и не в других местах. Нечто надуманное, неправдоподобное. Не таковы они. Литературщина.

Немного от старца Зосимы у Достоевского, немного от Мельникова-Печерского. Но конец хорош. Заговорил в Иване Васильевиче человек из народа, работяга. И принялся он, завидев топор, воткнутый в пень, рубить лес. Рубил, рубил. Но годы не те. Задохнулся. Сердечный припадок. Упал. И последняя фраза:

"И когда, с последним глотком воздуха, сердце задохнулось, чтобы через мгновение отказать совсем, Иван Васильевич, падая, успел подумать, что там, впереди него, море. Море, с которым должна была сомкнуться дорога. Его дорога" (стр. 168).

И это основная тема повести.

Сквозь бюрократические загородки, через циркуляры и директивы – живая стихия, море. И отсюда у лучших тоска, тоска по морю, по живой стихии, с которой должна сомкнуться их дорога.

И другой план. Море вселенской любви, с которой должна соприкоснуться дорога каждого из людей.

Бог!

* * *

И новый взлет. Рассказ "Встань за черту". За черту, отделяющую среднего литератора от огромного таланта, "гениального таланта" – по терминологии Белинского.*

---

* Согласно Белинскому, следует отличать гения (универсального писателя – типа Шекспира – отражающего вселенские масштабы) от гениального таланта (писателя, отражающего свою эпоху).

Как отражение жизни рассказ безукоризнен. Ни один самый суровый критик не найдет здесь ни одной фальшивой ноты. Только пишущий эти строки нащупал у писателя его ахиллесову пяту. (О том речь впереди). Но другой читатель, далекий от специфических особенностей Вашего покорнейшего слуги, этого не заметит.

"Михей сидел над берегом у ночного моря, и берег, выдаваясь слева от него круто вперед, обозначал перед ним одинаково светящееся пятнышко: окна дома – его дома.

Время от времени Михей отглатывал от бутылки, и все никак не мог заставить себя встать и пойти туда – в сторону зовущего светлячка" (стр. 165).

Это старт. Начало рассказа. Михей – человек тяжелой судьбы. С малолетства ушел из дома. Женился, имел семью. И опять все оставил. И от всех ушел. Куда? Зачем? Автор нам не рассказывает. Но судя по намекам, было в жизни все: бродяжничество, широкие степи, дремучие леса, большие, шумные города.

Он, видимо, побывал и в блатных. Но не блатной. Он слишком большой индивидуалист, чтоб быть членом какой бы то ни было корпорации. И преступник. В чем выражались его преступления, мы не знаем. Но судя по тому, как отшатывались от него родные – сыновья и дочь, – видимо, нечто отвратительное.

Убийство с грабежом? Возможно, неоднократные убийства? Бандитизм? А может, не то. Автор по цензурным соображениям (рассказ написан в Советском Союзе) не мог написать правду.

Власовец. А может быть, эсесовец, принимавший участие в карательных экспедициях. На это есть намек. Реплика дочери: "Да и за что он сидел-то, сказать стыдно. Люди воевали, а он..." (там же, стр. 188).

Разумеется, Михей по натуре зверь: и жену мучил, – зверски избивал, голую на улицу выволакивал, – горький пьяница, и с уголовниками связан, и по мокрому делу бывал. Но одно другому не мешает. Мало было таких среди эсесовцев?

Представьте себе это. И все станет ясно: и ужас родных, и всепрощение жены, и сам облик Михея. (На профессионального уголовника, блатного, он все-таки не похож).

Он приходит к жене. И жена Клавдия раскрывает ему объятия, говорит, что это его дом.

Сольвейг! Но русская Сольвейг. Умелая, умная, добрая баба. Долгие годы жила одна. Но не погибла. Оставил он ее с тремя детьми. И всех вырастила. И всех более или менее вывела в люди.

И сейчас крепко стоит на своих ногах. Он, видимо, беглый. Опять здесь какая-то недоговоренность по цензурным соображениям. Но иначе (если он освободился из лагеря легально) непонятно, почему из его прихода надо делать такую тайну. Почему его надо прятать от всех: и от детей, и от родного брата.

Коллизия. Жена, любящая, принявшая его в объятия, хочет, чтоб дети, взрослые дети, тоже приняли бы отца. Начинаются переговоры с детьми. А дети все страшно друг на друга не похожие. Но во всех что-то от него. Люди жестокие и упрямые:

Сын Андрей. "Местный литератор". В районной газетке. Пьяница горький. Трезвым почти никогда не бывает. Вначале задрался с зятем, местным опером, – из духа противоречия стал защищать отца. Но после ухода зятя – вдруг полная перемена. Оказался еще более непримиримым к отцу, чем зять. Заявил, что если увидит отца, убьет.

Не знает, что отец сидит в другой комнате и слушает суждения о нем детей.

Возмездие. "Юность – это возмездие" – любил Александр Блок слова Ибсена. Но уж больно паршивая, поганая юность. Трусиха дочь в рабстве у мужа – жандарма, и пьянчужка – советский журналист. Глядя на них, невольно начинаешь сочувствовать тому, преступнику, убийце.

Мать делает все, чтобы смягчить детей. Рассказывает дочери, как отец, нищий, ее нянчил, – как бегал в роддом, когда она родилась... Колебнулась. Но приходит муж – опер. И она сразу отрекается от отца.

А в соседнем доме бушует пьяный брат.

В конце рассказа появляется для отца надежда – приезжает из духовной семинарии в отпуск другой его сын – семинарист.

* * *

Пишущий эти строки знаком с Максимовым, хотя и не близко. Был в переписке по поводу некоторых материалов, которые посылал ему в "Континент".

В ответ письма с отказом. И резкая критика

(впрочем, в вежливой форме). Он укоряет меня за "калейдоскопичность".

Линия Андрея и его невесты Ани великолепна. Хорошо проведена линия наследственности. "Ругон-Маккары" Золя, "Привидения" Ибсена.

Сын повторяет отца. Пьяница. Мучает любящую его женщину. Тоже "искатель". Не удовлетворен жизнью. И одна фраза Ани, которая вдруг разом объясняет и отца и сына: "Бьешь и проходишь мимо, – гнула она свое, – некогда тебе замечать ударенных. Ты собою занят. Собой, выдуманной бедой своей, болью своей сочиненной. И все это от того, что не можешь ты найти в себе мужества смириться с собственной ординарностью. Но я-то ведь тебя знаю, у нас ведь и столы в редакции рядом, ничего не скроешь, всегда на глазах друг у друга. Ты, Андрюшенька, типичный провинциальный химирист в ухудшенном, современном переиздании. На самоубийство тебя не хватит, а жить, "как все", не позволяет гонор. Выход один, причем самый "красивый" и безболезненный – кабак" (там же, стр. 205)

Прочтя эти строки, я невольно вздрогнул. Да ведь это портрет. Собирательный портрет десятков моих знакомых и приятелей. Тех, кто в России, и тех, кто ушел в эмиграцию.

С юности я болен образом Гамлета. Комплексом Гамлета. Знавала Русь Гамлетов. Да и как много! Но жил-был когда-то в Германии один человек. Некто Карл Маркс. В своей известной исторической работе "Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта" он написал о том, что все явления в истории повторяются дважды: один раз в виде трагедии, другой раз

в виде комедии. Увы! Пародийность не только закон истории ("От Ильича до Ильича"), — это и закон обыденной жизни. И Михей — и Андрей — пародии, немного на Есенина, немного на Блюменталь-Тамарина. Есенинская размашистость и ни капли есенинского таланта. Тамаринская богемность и беспринципность — и ни капли тамаринского таланта.

Как-то раз я захотел познакомить одного своего приятеля (это вылитый Михей или Андрей) с очень умной и тонкой дамой. Предупредил: "Человек есенинского типа, но без таланта". (Кстати сказать, она лично хорошо знала в свое время Есенина). Получил ответ: "Позвольте, Есенин — это помойка, в которой росли лилии. Лилии — это его талант. А Есенин без таланта — это просто помойка. Избавьте меня, пожалуйста, от таких знакомств".

Права ли она была? Не совсем. И у Михея и у Андрея горечь и боль — человеческое сердце. (В противоположность совершенно бессердечным автоматам — операм). А человеческое сердце — это и есть лилии.

* * *

И новый персонаж. Плющ. Тут снова литературщина. Немного от Достоевского. Как и у Горького. Тоже всю жизнь ходил вокруг Достоевского. (Пьеса Горького "Старик", и почти в каждом романе — старый грешник, тема отмщения).

Беда с ними. Достоевский-то один. А вас, Горьких да Максимовых, много. Тот гений, а вы гениальные таланты. Так, что ли?

Поэтому литературно и не естественно. Но здесь облик Михея Савельича уже явственнее. Ну, конечно, власовец или того хуже. Выясняется, что он был в солдатах под Ельней. Служил вместе с Плющом. Оставил раненого и, казалось, безнадежного. А сам ушел, прихватив его документы, по которым потом долго жил. И опять какой-то намек. Долго потом гоняли, таскали Плюща по следственным комиссиям и по оперчекистским отделам за дела, которые творил под его именем его друг.

Тут уж кажется ясно. Если оперативники вмешались и так долго искали, неспроста. Уголовника бы искать не стали. Ясно, что "изменник". У немцев побывал и дел натворил. И потому сынок такой сумрачный. "Повезло мне на папаню". А что все-таки мог делать папаня? Так как автор молчит, пофантазирую за него.

Знавал я в лагере профессионального фальшивомонетчика. Всю жизнь деньги подделывал. Да как! Ни один специалист не отличит фальшивки от подлинника. А у белых в жандармском управлении служил. Сделаем этого старика моложе лет на тридцать. Вот вам и Михей Савельевич. Знавал я одного милого старичка в лагере, который у немцев работал в гестапо. В его обязанность входило евреев разыскивать в оккупированных областях. Я спрашиваю: "Но как? Как будто главный признак, по которому еврея можно отличить от христианина, у советских евреев обычно отсутствует?"

Отвечает: "А так. Увидишь какого-нибудь, начинаешь узнавать, кто такой, да где живет. Да выспрашивать у соседей: что и как. И узнаешь". А за-

тем добродушно закончил: "А о тебе так и спрашивать ничего не надо. Взгляни на тебя, сразу видно, кто ты". Хороший старичок. Со мною был дружен, водой не разольешь. Говорил мне: "Я о тебе, как о сыне, беспокоюсь". Слышал его разговор как-то с одним заправским черносотенцем. Тот ему: "С евреем вместе питаешься". Он: "Для меня все люди одинаковы". Конечно, предал бы меня за ломаный грош.

Чем не Михей Савельевич? И обо всем этом поведал Плющ михееву сыну Андрею. Тут, конечно, можно сказать: "Повезло мне на папаню".

* * *

И бабы. Так уж повелось на Руси. Писатели жалеют баб. И правы. Много, много горького терпят женщины на Руси. И от XIX века, от Некрасова, перешла эта традиция к нашим современникам. Не знаю только, легче ли от этого бабам. Но жалеют. Отсюда и солженицынский "Матренин двор". И Максимов продолжает эту линию. Тут и Клавдия. Женщина, которая "и коня на скаку остановит, в горящую избу войдет", и пожалеет, и простит. И Марьюшка – больная, пьяненькая, опустившаяся старуха. Когда-то разбитная девка, с которой провел Михей "свою первую мужскую ночь". И теперь, ожидая смерти, вспомнила его и пожалела.

"Коли приедет, кланяйся, скажи – поминала, мол, без злой памяти. Не мне судить его. Да и есть ли кому... Не он виноват, а кто – один Господь знает... Нету на нас ни на ком никакой вины! Она

вдруг напряглась вся, и дряблая отечность ее занялась недоброй, но вещей тенью. — А чья вина, с того еще спросится, ой еще каким спросом спросится. А Михею кланяйся с добром... Пойду" (там же, стр. 235).

И конец. Прежде всех долгожданный гость. Семинарист. Не совсем знает этих ребят Максимов. Верно видел одного-двух случайно. Вовсе не говорят они церковно-славянскими цитатами. И ребята хорошие. Но основное правильно. И они люди, отравленные текстами, шпаргалками, доктринами, взятыми из учебников нравственного богословия, изданных лет 80-90 назад.

И потому не нашлось у семинариста Семена того, что было у пьяной бабы Марьи и у Клавдии, простой, неученой, и в церковь-то заходившей раз в год и то по обещанию. Одни лишь карающие, жестокие слова и у Семена.

А потом семейное собрание. Клавдия взывает к чувству, говорит детям, что не страдали они —чего не додал отец, она додала.

И в ответ молчание. Сухие односложные восклицания. И здесь очень глубокое замечание. Не потому, что большая у них обида на отца. А так воспитаны. Нет любви, нет жалости.

Это, действительно, характерно для нового поколения. Я помню, когда я рассказывал о Христе, слушали внимательно. Но когда доходил я до того, что самая главная заповедь Христа — любовь, в ответ рожи расплывались в улыбках. Ухмылки и фырканье. Для них слово "любовь" ассоциируется исключительно с "эросом". С половой любовью.

* * *

Почувствовал это Михей, и с истошным криком: ”Ироды!” – стреляется.

А они вправду Ироды. Ни жалости, ни понимания, ни любви. И кончается повесть одинокими похоронами. (И на похороны не пришли, и мертвого не пожалели).

И долго плачет Клавдия. Одинокая. На могиле мужа. И слышит благовест, ранний, утренний благовест в единственной оставшейся слободской церкви.

Прочел. И захотелось позвонить к Максимову в Париж. И сказать: ”Спасибо. Хорошо написал, мужик”.

Позвонил, но не дозвонился.

ОЖИДАНИЕ И НАДЕЖДА
(Баллада о Савве)

Не хотел звонить Максимову. И все-таки, прочтя ”Балладу о Савве”, позвонил.

Хотел выяснить время написания его произведений.

”Баллада о Савве” мне показалась более молодой, чем ”Стань за черту”.

Так и оказалось. Хронология его произведений такая:

1) ”Жив человек”,
2) ”Мы обживаем землю”,
3) ”Баллада о Савве”,
4) ”Стань за черту”.

И во всех четырех произведениях – ожидание и надежда. В ”Балладе о Савве” – ожидания и надежды больше, чем где бы то ни было из произведений Максимова.

Произведение молодое, композиция неумелая. Летчик здесь еще только набирает высоту. И как в самолете: земля опрокидывается кубарем, летит куда-то в тартарары, исчезает, появляется опять, самолет выделывает курбеты.

Начало. У автора еще не сложился почерк. Начинается повесть с чисто горьковской фразы: ”Лес позванивал и дымился”. (Сравни известное: ”Море смеялось”, с которого начинается у Горького ”Мальва”).

Описание леса. По лесу идет Савва. И пришел к избе. Там странный мужик – не то монах, не от отшельник. И занят он странным делом: сидя на корточках, у порога, помогает мурашу вытаскивать былинку.

И начинается разговор монаха с пришлым мужиком. И с первых же слов можно заключить следующее: монахов наш автор видел только на картинках. Кирилл лесной житель, на монаха не похож. Это (как любил говорить покойный профессор В.Ф. Переверзев) персонаж с фальшивым паспортом: обычный максимовский герой, одетый монахом.

Кирилл – мужик бывалый – был на войне, инвалид, безногий, был и в немецком плену. Быстро угадывает в Савве беглого лагерника. Направляет его к бабе Васене Горловой. ”Верная баба. Укроет хоть навеки и куда хочешь выведет. У нее вашего брата перебывало –пропасть...” (стр. 255).

Савва отправляется к Васене. И вот перед нами опять образ властной, сердечной русской бабы. Это та же Клавдия. Но Васена более молодая, с неугомонившейся плотью, с незаживающей раной в душе. Мы не знаем ее прошлого. Но по отдельным намекам ясно. Был у нее мужик. Была семья. Двое детей остались от него. А потом ушел от нее муж. И осталась она одна. И хоть мужиков кругом много, нет желанного ни одного. А на разврат она не способна: слишком строга и ясна.

К ней и пришел беглый. Приняла. Накормила. Образ Васены раскрывается постепенно. Во многих аспектах. Первый аспект, хозяйственная русская баба. "Хлеб она резала по-деревенски, с силой прижимая буханку к груди и опуская глаза вниз, и благодаря этому Савва впервые за вечер без стеснения рассмотрел ее.

Есть такие лица без особых черт, которым одновременно можно дать и тридцать и сорок. Они меняются в зависимости от множества причин: освещения, например, или улыбки, времени дня или даже наклона головы. Именно таким и виделось Васенино лицо. (стр. 259).

И тут же другой аспект. Вдумчивость и горечь. Но было оно (Васенино лицо) пронизано какой-то раз и навсегда обдуманной мыслью, каким-то особым выражением, словно тронуло его изнутри, как тот пепел в поду тихим и долгим теплом...

Савва лежал на полушубке, бережно укрытый стеганым одеялом, а прямо против него, только выше, на лежанке, спала, а вернее не спала, но в упор, не мигая, глядела в его сторону хозяйка. Выражение

лица у нее было мягким и как бы немного озадаченным, будто она открыла в нем что-то для себя новое и неожиданное. Савва следил за ней из-под приспущенных ресниц, и такая тоска, такая зовущая покорность рвалась из ее глаз, что он вдруг до зябкого холода в спине (опять надуманная метафора типа "море смеялось" – А.Л.) проникся, с каким же одиночеством в душе надо вековать век, чтобы вот так смотреть на случайного, а может быть и опасного гостя" (стр. 261).

И на вопрос о том, можно ли курить, ответила: "Все мужиком пахнуть будет" (там же, стр. 260-261).

А утром рано спровадила Савву со словами: "Пора однако".

* * *

И далее следует линия Сашки. Линия Сашки – это как бы отдельная новелла – биография Сашки, его приключения, его гибель, – это быть может высший взлет в творчестве Максимова. Тот, кто прочел эти страницы, век их не забудет.

В логово, где скрывается Сашка, привела Васена Савву. Он тоже беглый. Мелкотравчатый. Совершеннолетний, но вид ребенка. Я знавал в лагере таких малорослых, недоразвитых, похожих на обезьянок. На роду им написано до самой смерти ходить в "малолетках", хоть уже обросли они седой щетиной. И возраст, и национальность, и даже пол – все у них неопределенное. Уж никак не примешь никого из них за взрослого мужчину.

Савва остался с ним наедине. Тот сидит, обхватив коленки руками, и смотрит в огонь маленькими блестящими глазами. И одно лишь замечание: "Такие глаза видел Савва у одной домашней обезьянки: в них отстаивалась лишь грусть – грусть ровная, глубокая, давно определившая свое отношение ко всему" (стр. 262).

И краткий диалог, если можно так выразиться: "Савве стало не по себе, и чтобы хоть как-то разрядить ставшее уже неловким молчание, грубовато спросил: – Давно отлеживаешься? Парень не ответил, а только туда-сюда мотнул головой и цокнул, как это делают все лагерные южане, когда хотят сказать "нет".

– С Кавказа? – Утвердительный кивок головы был ответом.

– Да ты, брат, не из разговорчивых,

– Зачем? – тихо-тихо пошевелил парень губами.

– Что зачем?

– Разговаривать.

–Ну, все-таки... Веселее вроде...

Тот в ответ лишь чуть-чуть опустил уголки бескровных губ, но так это было горько сделано, что у Саввы отпала всякая охота к беседе.

А парень продолжал безмолвно смотреть сквозь огонь, и, наверное, одному Господу Богу было известно, что он там видел, в огне..." (стр. 262-263).

Далее Максимов вновь пользуется свойственным ему "тургеневским" приемом: углублением в биографию героя.

Начало биографии: на Кавказе (между Невинномысской и Прохладной) проводник бакинского скорого подобрал татарчонка лет пяти. Кто он, откуда, как его зовут – ничего не известно. Приводят в детоприемник. Здесь воспитатель дает ему издевательское прозвище: "Александр Сергеевич Пушкин" и под этим именем оформляют ему документы. И начинается кочевье: из одного детприемника в другой детприемник, от одной колонии к другой. И отовсюду Сашка бежал, и все бежал, и все бежал, пока не добрался до самого синего моря. И здесь он устроился на чердаке общественной уборной, на пляже, около самого синего моря. Каждый день ходил в город (небольшой курортный городок) – видимо, Сочи. И там в ресторанной кухне из жалости давали ему объедки.

Так жил на берегу моря этот крохотный человечек, оторванный от всех, среди людской толчеи, но никого не видя, никого не зная, не замечаемый никем.

И вдруг жизнь ворвалась – и произошла встреча, которая перевернула все его существование.

Однажды заговорил с ним рыжеватый парень, ладный, быстрый, в веснушках. Он заговорил с Сашкой шутя, весело, беззаботно.

"Рыжеволосый парень стягивал в себя пеструю распашонку, поигрывая волосатой, темно-красного оттенка грудью, необидно посмеиваясь в сторону Сашки. Заговорил с Сашкой, спросил, примет ли его в компанию. Тот ответил кратко: "... море не мое".

И неожиданный ответ: "Это ты прав. Но ведь мы же джентльмены, не правда ли?" Слово Сашка

слышал впервые, но на всякий случай согласился: — Угу!" (стр. 267).

Затем парень бултыхается в море, плавает, и Сашку учит плавать. И здесь ничего не выдумано. Видел я много таких. Южный парень. Сангвиник. Тоже в своем роде романтик. С детства помешаны на бульварных романах. Любят они читать про сыщиков. Хотят "красивой жизни". Связываются с воровской компанией, но остаются там обычно недолго. Там надо рисковать, быть в содружестве, подчиняться воровской дисциплине. А им это ни к чему. Эгоисты до мозга костей. И попадаются при первом же задержании на крючок милиции, угрозыска. Становятся стукачами — шпиками. Таким и был рыжий: начинает выпытывать у Сашки, не знает ли он Грача Николу? Короля местных бандитов. Выпытывает наугад. Если увидит, велит послать по определенному адресу. И на прощание сует ему десятку.

Через некоторое время, как это ни странно, действительно Сашка познакомился с Николой Грачом. Дело было так — пошел Сашка на базар. Разжиться, залезть в карман, и попал в облаву. Кто из тех, кто живал в южных городах, не знает, что такое облава. Когда вдруг милиция оцепляет базар, и начинается поголовная проверка документов. Сашка бежит — взбирается на забор, и оттуда прыг с верхотуры. Но неудачно. Сломал ногу.

Со сломанной ногой добрался до пустующего здания, недостроенного театра. Здесь встретил инвалида, который ютится в ложе. Тот в нем принял участие. Перевязал. Дал отлежаться. А через некоторое время здесь появляется Грач.

Этого Максимов рисует с симпатией. Видно, что по сердцу ему Грач. Да и невольно любуешься вместе с ним Грачом. Знавал и таких. И даже дружил: ладные, крепкие, веселые. Врагу пощады нет. Но уж друга не выдаст в беде. И покормит, и пожалеет. Мастер своего дела. Ограбит любой магазин. В банк пролезет. Никто от него не уйдет. Но по мелкому делу мараться не станет. Уходящий носитель воровской романтики. Теперь уже и воры не те: мелковатые, подловатые, трусливые.

И первый раз в жизни привязался Сашка к человеку. Полюбил он великодушного, открытого, смелого Грача. И рассказал (черт его за язык дернул), что один человек о нем спрашивал, хотел видеть, дело предлагал.

Максимов мастерски передает душевную борьбу Грача. Где-то в глубине души он чует, что это подвох, но профессиональный интерес побеждает:

"Грач сопротивлялся, но по рассеянной задумчивости ответов, да еще по вспышке сухой, хищной искры в глазах, ставших сразу чужими и отсутствующими, чувствовалось, что от слова к слову недоверие его гаснет, уступая место профессиональному азарту" (стр. 277).

К тому же как раз в это время дела тихие: нет улова. И Грач решается разыскать рыжего. Но прежде долго колебался. Предчувствие говорило: "Не ходи!"

И это очень правильно подмечено. У воров, настоящих воров, сильно развита интуиция. (Они сродни писателям и актерам). И предчувствие их никогда не обманывает. Но в наш рациональный век и

они, как и актеры и писатели, отравлены рассудком.

Грач отправляется к рыжему и попадает в засаду (писательское дело легче – обманула интуиция, написал плохой роман – и баста, это не смертельно).

Великолепная сцена: погоня за Грачом. Выстрелы. Он отстреливается. И последняя пуля в себя. Милиции достается труп. Они его укладывают. И невольная дань храбрости умершего, – кто-то закрывает ему лицо.

А Сашка, послуживший невльной причиной смерти Грача, остается наедине со своей воровской совестью. И тут выясняется, что смелая, хотя и озлобленная душа живет в тщедушном теле воришки-беспризорника. Он убивает Рыжего. Встречает его на улице под руку с девчонкой. И тут все неправдоподобно, быстро, именно так, как бывает в жизни. Видит Сашка автомобиль – шофер ушел обедать. Садится за руль. Вспоминает уроки шоферского дела, которые проходил в одной из колоний. Ведет автомобиль, вихляясь, по улице. И наскакивает с ходу на Рыжего. Здесь краткая реплика:

"Крик. Кричит девушка. Рыжему уже нечем кричать".

Здорово. И опять невольно хочется сказать: "Хорошо пишешь, мужик".

И далее. Подружились Савва и Сашка. И решили идти дальше вместе. Мечта Сашки – море. А до моря тысячи километров. Ведь Сибирь-матушка. А потом коллизия. Плюет Сашка кровью. И выясняется, что болен он туберкулезом в последней стадии. Храбрится. Уверяет, что не заразный. Идут, идут. Доходят до места, где укладываются в лесу на ноч-

лег. Думает Савва – что делать ему с напарником, бросить совесть не позволяет. Он не то, что Михей. Засыпает. А утром просыпается. Сашки нет. Начинает разыскивать, и обнаруживает. Повесился в лесу. Последовал примеру Грача. И если бы знал он Ницше, сказал бы перед смертью: "Если жизнь не удается, смерть всегда удастся тебе".

И здесь несколько слов об уголовниках. Бакунин, как известно, делал ставку на них. Напрасно! Для дела, большого дела, для революции, они не годятся. Но есть среди них некоторые, про которых можно сказать: "Хороший человеческий материал". Нравились многие из них мне своей романтикой. Тем, что не укладывались в привычный образ жизни. И любили они меня. Делились со мной последней краюхой хлеба. А я думал: "Недаром Христос на кресте открыл двери райские для разбойника".

* * *

И опять встреча с Кириллом. И тот же тургеневский прием. Углубление в биографию героя. И здесь впервые обнаруживаются сильные и слабые стороны писателя.

Там, где он рассказывает, как воевал Кирилл, попал в плен, бежал из плена – неплохо. Хотя неверно одно: трудно сказать, что было для него опаснее: сидеть в гитлеровском лагере или вернуться к своим. "Свои" – тех пленных, да еще тех, кто убегал из лагеря, не щадили: смершевцы их расстреливали за милую душу – подозревали в шпионаже.

Возвращение инвалида Кирилла в родную де-

ревню, и как он узнает от девчонки, что жена спуталась с другим, считая его мертвым – прекрасно. И как он спрыгивает с телеги и поворачивает назад, а вслед ему голос девчонки: "Дяденька-а!" Изумительно!

И как превращается в бродягу и ходит по Руси, пропивая с себя все, – тоже прекрасно. Много встречал я таких.

Но вот он попадает в монастырь. И здесь, что ни слово, то "развесистая клюква". Здесь не только крайнее неправдоподобие, совершенное незнание монастырской жизни, но и совершенно анекдотическое невежество во всем, что касается религиозных вопросов. Невежество, которое может быть только у советского человека.

Ну вот, например, такой отрывок:

"Погасла среди ночи в его келье лампада под образом Спаса (не под образом, а перед образом, милый – А.Л.). Инок поднялся, чтобы засветить ее сызнова, но тут же обмер, пораженный неземным видением: от иконы исходило, рассеиваясь по обители, ровное, едва уловимое сияние. Не смея более взгляда воздеть на образ Спасителя, упал Кирилл у преддверия Его, лицом вниз (преддверие бывает у комнаты, у храма, а не у иконы – А.Л.), да так и остался лежать, пока знакомая ладошка не шлепнулась ему на плечо.

"Воспрянь, святой Кирилл, ты сподобился". На мгновение ожгло было сомнение Кирилла – откуда, мол, игумен тут как тут? – но сразу же пришло утешение: "На то он и настоятель, что ему дано все знать, читая в помыслах иноковых".

Кирилл поднялся с полу. И старик, опустясь перед ним на колени, смиренно приложился к его руке: "Смертным да отпущаеши. Се предначертание креста твоего. И не нам, грешным, молить за тебя, ибо твоей молитвой мы живы до сего дня" (стр. 319).

Потом выясняется, что все это, как намекает Максимов, была уловка игумена, чтобы отделаться от Кирилла. Дикая нелепость этого отрывка не нуждается в комментариях. Но для читателя, который знает о монастыре не больше Максимова, поясним. Прежде всего, святым может быть признан человек только после смерти. Причем необходимы три условия:

1) Праведная жизнь до самого последнего часа

2) Чудеса на могиле.

3) Нетленность мощей. (Это условие не обязательное, но желательное).

4) Причислить к лику святых может лишь высшая церковная власть: собор епископов в главе с Патриархом. Восхищение этой власти игуменом влечет за собой немедленное лишение его сана и монашества. Исключение составляют лишь мученики за веру, принявшие смерть за Христа, которые могут быть причтены к лику святых без первых трех условий. Однако только после смерти и только высшей церковной властью.

Если бы кто-нибудь в монастыре провозгласил бы себя или кого-нибудь из живущих святым, это было бы воспринято как сатанинская прелесть. Немедленному изгнанию из монастыря, в частности,

подлежит не только за слова, но и за даже за такие помыслы, сам игумен.

Далее. Каким образом игумен может целовать руку простому монаху? Это опять сатанинская прелесть. Целуют руку только у священника, рукоположенного и совершающего литургию. Причем целование руки означает уважение не к данному лицу, а к совершаемому им таинству.

И наконец – о чудесах. Чудеса возможны только тайные. Никаких явных чудес с всенародным оглашением монашеский устав не признает, ибо чудеса бывают и сатанинские с целью прельстить иноков гордостью. Не признает монашеский устав и никаких чудесных видений, если они не сопровождаются особо добродетельной жизнью. И оглашать о них можно лишь после смерти инока. Все остальное рассматривается опять-таки как сатанинская прелесть.

И наконец, вообще непонятно, для чего настоятелю потребовалась вся эта нелепая инсценировка. Если он хотел отделаться от Кирилла, или дать ему какое-либо новое назначение, так монах и так обязан исполнять любое возложенное на него послушание. На то он дает при пострижении обет послушания.

Здесь перед нами картина не монастыря, а хлыстовского корабля, видимо, в подражание Мельникову-Печерскому. Но и в хлыстовском корабле все это делается гораздо более сложно и серьезно.

Так что с монахами нашему писателю явно не повезло. И это для него типично: или головокружительные взлеты, или головокружительные падения.

Середины не бывает. И в этом он очень, очень русский человек.

И вот Кирилл в лесу. Опять дает пристанище Савве и Сашке, выпроваживает их. Добрый, хороший, простой, неглупый русский человек. И все хорошо, если бы не монашество. Напрасно, Владимир Емельянович, не вычеркнули Вы это место при переиздании.

* * *

"Повесть о Савве" удивительно многоплановое произведение. И одним из интереснейших эпизодов является глава, где рисуется быт у пароходной пристани. Там, рядом, рыболовецкие поселки. И живут там сосланные туда немцы Поволжья, и наряду с ними, конечно, и коренные сибиряки. И здесь появляется народник. Как правильно отмечено у Солженицына, не перевелись на Руси народники. В данном случае это приезжий учитель. Хороший человек. Александр Иванович. И коммунист. И даже убежденный коммунист. Но есть в нем что-то от старых интеллигентов — любовь к простым людям, и страдающий маниловщиной — этой исконной болезнью всех русских интеллигентов.

Но его полюбили, и потянулись к нему люди из народа. И сибирский речник Родион Плахин, графоман, который приходит к нему с тетрадкой своих произведений. И местная молодежь. Принимает его к себе на квартиру Васена. И тоже искренно привязалась к своему постояльцу, так не похожему на окружающих его людей.

А жизнь идет своим ходом, грубая, жестокая жизнь. И советская жизнь.

В. Максимов всегда и всюду признает приоритет Солженицына.

Мы также, как мог видеть читатель, очень высоко оцениваем Солженицына и его вклад в дело преображения России. Но есть в творчестве Максимова аспект, где он превосходит Солженицына. Никто так, как он, не умеет раскрыть душу маленького русского человека. Никто, как он, не умеет показать его бесправья, приниженности, – и в то же время того, что живет в нем вольная душа, и годы страданий не сломили его.

И тут перебрасывается от него мост к Некрасову – не к его другу и товарищу по "Континенту", – к другому Некрасову. Певцу горя народного. И знатоку души русского человека.

"В рабстве спасенное
Сердце свободное –
Золото, золото
Сердце народное!
Сила народная,
Сила могучая –
Совесть покойная
Правда живучая!
Сила с неправдою
Не уживается,
Жертва неправдою
Не вызывается, –
Русь не шелохнется,
Русь – как убитая!

А загорелась в ней
Искра сокрытая!*

И это показал Максимов в великолепной четвертой главе своей повести. Хороший человек Александр Иванович. Добрый человек. И воспитан он на русской литературе. И на Некрасове прежде всего. И вот его афоризм – по существу представляющий прозаический пересказ некрасовского гимна:

"Плохи стихи... хороши ли – это неважно. Важно другое. Человек себе отдушину в небе нашел, звездным воздухом дышать начал. И его уже не согнешь, не поставишь на колени: он думать начал" (стр. 296).

Эта фраза так и просится в уста Гриши Добросклонова из "Кому на Руси жить хорошо", который сложил гимн о Руси. И если бы переселился Гриша Добросклонов каким-нибудь чудом на берег Сибирской реки, в XX век, вел бы он себя так же, как Александр Иванович. А на берегу сибирской реки тревожно: сюда едет начальник, высокий начальник по местным масштабам. Сам Скидоненко – комендант по переселенческим колхозам нижневарского побережья. Здесь он царь и бог. Ведь население-то бесправное: высланные немцы – любого можно в кутузку и в лагерь, и если пристрелит невзначай, ничего ему за это не будет.

И встречает его Бекман, старый коммунист, председатель колхоза. Но задрипанный коммунист. Сам высланный, хоть и сохранивший партбилет (не

* Н.А. Некрасов "Кому на Руси жить хорошо".

тот ли это, которого встретил Оглоед в "Раковом корпусе" у Солженицына?)

И столкновение. Скидоненко – хам и самодур, грозно требует от немчика Бекмана ответа, почему план не выполнен. Почему рыбы нет? Тот робко оправдывается, ссылаясь на "объективные причины". И тоже неверно: "объективные причины" ходят в кремлевских френчах, это благодаря их мудрой хозяйственной политике осталась Россия без рыбы.

"Вы Россию обезлесили и обезрыбили", – бросит им через несколько лет в лицо Паустовский. Но Бекман не Паустовский, он мнется, оправдывается – и получает на глазах у всех от Скидоненко по морде. Что ему стесняться в своем отечестве. Никто не посмеет возражать.

И вот тут выходит застенчивый, робкий учителишка. Александр Иванович. Он протестует. Он хватает за руку взбеленившегося хама. И в его поддержку – друг и стихотворец Родион Плахин.

Скидоненко на миг струсил. Но быстро пришел в себя. Завопил о контрреволюции. Кагебисты хотели схватить Родиона. Но не тут-то было. Ушел. Да и не хотели связываться. Силач. Двух, трех человек на тот свет отправит.

Отыгрались на учителе. Схватили, ставшего вдруг беспомощным и жалким, и на пароход. Очки у него свалились. И сапогом раздавил их чекист. И пароход отчалил, увозя высокое начальство и арестованного учителя. А народ во главе с Бекманом, только что получившим пощечину, стоит на берегу,

молчаливый и бессильный. "Народ безмолвствует", как во времена Бориса Годунова.

И только Васена не выдержала, подошла к Бекману и плюнула ему в лицо. Сцена, исполненная глубокого символизма.

* * *

Покорный русский народ? Рабский русский народ?

В другой книге (в 4-ом томе моих воспоминаний "Родной простор") я приводил мнение еврейского деятеля, сиониста Цукермана о том, что русский народ – народ конченный. Но только ли такой русский народ?

Вот перед нами великий еврейский поэт Хаим Бялик. Яркими красками он описывает кишиневский погром. И нет предела его гневу. Против кого этот гнев? Против погромщиков? Против черносотенцев, царских опричников?

Нет, против евреев. Он представляет нам благочестивого еврея, который смотрит, прячась в погребе, как насилуют его жену, а потом обращается к раввину с вопросом: можно ли после этого продолжать с ней брачное сожительство.

И здесь, на берегу сибирской реки, ведь не только русские, а и немцы, арийцы, представители северной расы. И они безмолвствуют. Пока безмолвствуют. Но есть Родион, русский мужик. Он один здесь, сейчас. Но их много на Руси. Пока что спят. Пока что ищут. Но придет день и восстанут.

"Встали – небужены,
Вышли – непрошены:
Жита по зернышку
Горы наношены.
Рать подымается
– Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая.
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка Русь!"

* * *

И заключительная глава. В ней экскурс в прошлое Саввы. Как начинал он жизнь, как удрал от тетки, как удрал из родного города Белявска. И как столкнулся он с ребятами из артели сезонников. И вошел в нее.

Здесь писатель и читатель – оба запутываются, как пошехонец в трех соснах. Это, по существу, заключительная глава. И Савва здесь при конце пути. После всех испытаний. И не сразу сообразишь, что это начало, что Савва только что сбежал из родного дома. Тьфу! Пропасть! Беда с ними. С этими путаниками-писателями. И чем талантливее, тем путаннее. И здесь мы впервые входим во внутренний мир Саввы. И он, как и Сашка, оказывается ярым врагом консерватора Максимова.

У него было тяжелое детство. Хоть и есть у не-

го тетушка в Белявске, но будучи малолеткой, сидел он в колонии малолетних преступников. И хоть парень он не бездельник и умелый, но тяготит его серая жизнь. Он бунтарь.

"Нет, он никогда не вернется сюда, но уж конечно и не клюнет ни на какие вербовочные сказки. Дудки! Его не устраивает роль подопытного кролика. Ему это надоело еще в начальной школе. И не то чтобы он боялся или был ленив. Он знал цену сделанной вещи и любил самое дело. И бояться ему было нечего. Он умел постоять за себя: в колонии слабые не выживали.

Но только у него и в двадцать лет имелся взгляд на всякие такие вещи. Предположим, ему придется строить города, а заселять их все равно будут какие-нибудь белявцы, вроде теткиного соседа — клубничника Ферапонтыча. Заселять и плодиться, наращивая оборотный капитал доходами с огородов. И все чужими руками, за чужой счет. Нет уж, гражданин Ферапонтыч, извините. Адью, то есть! Себе дороже. Понастроют там, понаворочают люди всяких всячин (конституций с трехступенчатыми палатами, да бюрократическими канцеляриями — А.Л.) и пойдут дальше обживать землю, а этакая клубничная белявка (какой-нибудь "оратель" в пенсне, — умеренный консерватор из профессоров истории, Милюков или Маклаков — А.Л.) проползет вслед за ними с личными сундуками и чемоданами на все готовое, и начнет ухаживать свою приусадебную вотчину. (И при этом писать конституции "в

родительном падеже" – А.Л.) .* (Там же, стр. 337).

И далее: "И Савве стало весело и легко от ощущения собственного, не стесненного никем озорства. Он сел на бровку кювета, снял свои тяжелые, казенной ковки ботинки и, связав их за шнурки, перекинул через плечо.

– Так-то, – он сказал самому себе, – оно, брат, куда легче!

И пошел себе прочь от Белявска, от своего прошлого, от воспоминаний" (стр. 338).

Сильные строки. Весь русский человек в этих строках.

"Так-то, – сказал самому себе русский белобрысый рязанский мужичок, – и набросил себе на шею петлю. – И пошел себе прочь от гостиницы "Англетер", от своего прошлого, от воспоминаний".

"Так-то, – сказал себе угрюмый мужик, родившийся на Кавказе, а потом из Питера, из желтой кофты, брошенный в Москву, в лубянский проезд, и пустил себе пулю в лоб; пошел себе прочь от бюрократических буден, от литературщиков, от чиновников и от Бриков.

И еще третий русский человек. С раскосыми, монгольскими глазами. "Так-то, – он сказал самому себе, – оно, брат, куда легче!" И заорал с броневика: "Вся власть – Советам!" "Грабь награбленное!" "Долой десять министров-капиталистов!"

И увлек за собой миллионы грязных, вшивых

---

* "Оппозиция в родительном падеже" – выражение П.Н. Милюкова. Подразумевается не оппозиция Его Величеству, а "оппозиция Его Величества" на английский манер.

мужиков, и парней – в неведомое, невероятное. И им, как Савве, "почудилось, будто земля стремительно и бесшумно несется туда, навстречу им, далеким и зовущим, и что они летят вместе с нею все стремительнее и круче, и им стало весело и немного жутко" (стр. 338).

И дальше так будет. Скинут русские парни тяжелые, казенной ковки сапоги, сбросят их в кучу мусора, и пойдут туда, где весело и немного жутко. Где огненными буквами написано: "Земля и воля!" "В борьбе обретешь ты право свое!"

И дальше встреча с Зямой. Горбоносым еврейчиком в серой лохматой робе.

Я всегда утверждал, что простому русскому человеку антисемитизм несвойственен (отбросы и подонки – черносотенцы и сталинско-брежневские блюдолизы не в счет). И у Максимова это очень ярко выражено. Зяма – еврейский туберкулезный паренек, любимец трудовой артели; и Савва с первых же слов находит с ним общий язык. Выпили они вместе, поговорили по душам, чуть не подрались, а потом устроил его Зяма в артель. И в голову не приходит Савве, что это еврей. Он человек не испорченный ни царским, ни советским, – обоими гнусными режимами.

"Им стало весело. Очень весело. Весело от выпитого, от необычайности встречи, от солнечного великолепия утреннего июля, от ощущения своей молодости, наконец. Между долгими объяснениями во взаимной симпатии они допили бутылку... Они смеялись, так – без причины. Просто им было весело. Очень весело. Они шли по утренней дороге, то и де-

ло приседая друг против друга в приступах смеха, два почти незнакомых парня, и оба были молоды, и отпущено им было природой всего впрок: и солнца, и веселья, и утра, которое может не кончиться никогда, если идти по земле не останавливаясь. Ведь только младенцам да пьяным доступно, что она круглая..." (стр. 343-344).

И потом пребывание в артели. Здесь, что ни лицо — тип. Что ни страница — повесть. Повесть о русском человеке.

Вот проспался Савва, проснулся в незнакомой шарашке. Нары, все грязноватое, потрепанное. И тут же символ. Плакат с молодым, здоровым парнем, который держит в руках книжку сберегательной кассы, и надпись:

"Выгодно, надежно, удобно!"

Символ советской жизни.

Первый человек из артели, которого увидел Савва — Степан. Пожилой. И сразу начинает говорить полуславянскими изречениями. И реплика:

"Тетка Саввина шагу не могла шагнуть, чтобы не осенить себя крестным знамением, и уж говорила она не в пример этому босому пророку, куда речистее, *но парень так и не усвоил прописей библейской грамоты*" (курсив мой — А.Л.)

Тут воздуха для них вокруг не хватило, что ли... Поэтому сейчас тяжелые, чужие слова, как и человек, произносивший их, не западая в памяти, только раздражали болезненной своей обнаженностью (стр. 346).

Это так и есть. Величайшая ошибка всех исповеданий, всех современных проповедников — что их

религиозная проповедь начинается с библейских заповедей, с наставлений, с запрещений. И современный человек сразу чувствует скуку. Даже о Христе они говорят так, что мухи от скуки дохнут и молоко в банках скисает.

А начинать надо не с этого. И кончать надо не этим. Начинать и кончать надо тем, что есть Альфа и Омега. Альфа и Омега есть Христос! Евангельский, не оболганный и не подслащенный, и не позолоченный Христос! И начинать надо прямо с нагорной проповеди:

"Будьте, как птицы небесные, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы!..

"Оставь все, что имеешь, и приходи и следуй за мной". "Если у тебя две одежды, одну отдай неимущему". "Не можете служить Богу и мамоне".

И никаких иносказаний, никаких ограничений.

В первом томе своих воспоминаний я приводил слова моей матери, сказанные ею, когда я обосновывал Евангелием практику обновленческой просоветской церкви:

"Понимать надо так, как сказано. Христос, когда говорил, вовсе не думал, что твоему попу Введенскому надо будет подлизываться к советской власти".

И это изречение покойной мамы можно перефразировать: "Христос, когда говорил, вовсе не думал, что многоразличным попам, католическим, протестантским, православным, англиканским и баптистским проповедникам надо будет подлизываться к капиталистам, царям, королям, генералис-

симусам, генеральным секретарям, советским нуворишам".

Евангелие надо давать таким, каково оно есть. И понимать надо все так, как сказано. И это Евангелие, Христово Евангелие примет и Савва и его друзья. И оно им не покажется ни скучным, ни блеклым.

А потом Савва делается членом артели. И мы знакомимся с членами артели. Во главе артели стоит управляющий. По существу, хозяин, замаскированный хозяин. Все члены артели — люди с подмоченными паспортами, режимники, бродяги, многие с уголовным прошлым. Значит, в зависимости от хозяина. И он дает им заработать. И себя не обижает.

"Тот, что сидел за столом — могутный толстяк, затянутый с ног до головы в хром и сукно, — оглядывал острыми и заплывшими, как у старого хряка, глазами, изредка, вроде бы в такт своим мыслям, нашлепывая короткими пальцами по настольному стеклу, под которым поверх графиков и ведомостей красовалась грудастая русалка — детище ножниц и не очень богатого воображения.

Его широкое, мясистое лицо с апоплексическим румянцем во всю щеку могло бы показаться даже добродушным, если бы не вот эти глазки-буравчики" (стр. 350).

Знакомый тип нарядчика, купца-предпринимателя, мироеда, неоднократно описанный в русской литературе. Особенно напоминает он артельщика в очерках ныне забытого, а когда-то популярного пи-

сателя второй половины XIX века Эртеля.* И члены артели.

И последняя глава. Страшная глава. Читать ее тяжело. И в то же время, прочтя, чувствуешь облегчение. То, что древние называли "катарсис".

Здесь Максимов поднялся куда-то высоко-высоко. Туда, где не только Горький – Толстой, Достоевский.

Сцена сразу после устройства Саввы на работу. Мастер посылает Зяму за Дуськой, его невестой, возлюбленной. Он не скрывает, зачем. Жена его на сносях. А он "побаловаться хочет". Всеобщее молчание. Валет – один из артельщиков – предлагает: "Я схожу!"

Нет, ему надо, чтоб Зяма. Как правильно говорит Зяма: "Ему в душу плюнуть надо". И идет, никуда не деться. И Дуся, тоже старая лагерница, с режимом в паспорте. Говорит потом Савве: "А что я могу сделать? Лучше, чем по вокзалам ходить".

* * *

Кутеж, Самогонка. Пьют. Нюхают корочку. И раскрываются души. Хочется открыться целиком. Чтобы все, как есть. И раскрывается вся тайная горечь. Побои, помои, оскорбления. Все, как есть, наружу. Первым начинает Валет. И начинает песней:

"На бан мы прикатили, и тяпнули мешок.

В мешке большая дырка и хлебушка кусок".

"В неверном свете керосиновой лампы крас-

---

* См. Эртель "Записки степняка".

ное в белых пятнах лицо его выглядело еще более худым и расплывчатым. В густой Петькин басок чертиком вскользнул Зямин дискант, и трио рвануло во всю мочь:

”Подначивай да подворачивай,
Да если шухер на бану –
Все заначивай”. (стр. 361).

Это начало. Песня как смазка. А потом исповедь. ”Уступив друзьям повтор припева, Валет ухватился за горлышко порожней бутылки, покачиваясь, взмахнул ею, словно палицей, над головой и пригрозился в сторону стены:

”Сволочь! А ты знаешь, морда, что такое сто первая верста от любого областного центра? А ты знаешь, колхозный придурок, как подыхать с голоду на российских вокзалах? А по миру ты, падло, ходил, когда у тебя рожа полметра на полметра... А на четыре табуретки тебя, гад, бросали? А чулки с песком по тебе ходили? А кору, козел, ты в тайге жрал?” (стр. 362).

Да, все так и есть. Сто первый километр. Нигде в мире, никто этого не поймет. Освобожденного из лагеря и не пропишут ни в одном, хотя бы небольшом городишке. В результате можешь жить лишь в крохотных местечках, которые и так переполнены шпаной.

Ну вот, например, Кашин. Старая русская провинция. Уездный городок Тверской губернии. В центре, против гостиницы, сквер. Несколько обглоданных деревьев. Посредине памятник Ленину. Крохотная фигурка, позолоченная. Выглядит, как идол в

каком-нибудь африканском поселении. Кругом на скамейках шпана.

Подходит мужик лет 30-ти. В лохмотьях. Но лицо хорошее. Лицо тонкое и умное, как бывает только у русских мужичков. Подает руку. Как имя? В ответ молчание. "Не хотите знакомиться? Меня зовут Васька". Садится рядом. Начинается рассказ. Он питерец, ленинградец, мой земляк. Рабочий. Потом начал пить. Видимо, досталось жене. Хлебнула с ним горя. Потом в тюрьму. На 3 года в лагеря. В Беломорск. Здесь прерываю молчание. У меня там дружок. Вынимаю блокнот. Спрашиваю: "Почтовый ящик такой-то?"

Пугается на миг. "Вы что, опер?"

– Да нет!

– Ну да, я понимаю. Умный, хитрый опер.

– Да брось ты, дурак. Какой я опер? Я сам старый зэка. По 58-ой. Там у меня приятель. – Успокаивается. Продолжает: – Вернулся. Жена не принимает. Говорит: "Никаких алиментов от тебя не надо. Дочку сама прокормлю. Только уходи от нас ради Бога". Да и не прописывают в Ленинграде. Приехал позавчера сюда.

– Ну и как?

– Ничего, бабу одну нашел. Говорит: "Сходи в баню. Я тебя приму. И в колхозе работать будешь".

– А что получать за работу?

– А ничего. Мне надо литровку в день. Ну, и хлеба. Все.

А симпатичный мужик. И неглупый. Как тут не вспомнить опять поэта, но поэта, который сказал

однажды прозой горькую фразу: "Боже мой! Как грустна наша Россия".

Грустна! И хороша наша Россия!

101-ый километр, знаем мы его, Валет.

— А ты знаешь, колхозный придурок, как подыхать с голоду на российских вокзалах?

Знаем и это, Валет. Вот, например, Казанский вокзал в Москве. Ездил с него каждый день. Я жил в Вешняках. И полон вокзал бездомников. И на вокзале. И в поезде. Вот один безногий. Здоровенный мужик. Просит. Злой. Раз как-то ходил по вагону. Просил. И приговаривал с добродушным матерком: "Подайте, подайте. А то, как быть. Ноги оттяпали. К такой-то матери. Вот и ползаю, мать их так перетак".

Какая-то благочестивая старушка:

"Чего ты ругаешься? Кто же тебе подавать-то будет?"

Злость овладела мужиком. "А, так-перетак..." И влез на скамейку. Разлегся. Мигнул какому-то в шляпе: "Уходи!" Тот ушел. А этот: "Вот ваши гроши" — и звякнул собранной милостыней. Мелочь рассыпалась по всему вагону. Когда приехали в Москву, подошел к нему дружинник, показал книжечку. Мужик на своих культяпках заковылял за ним.

Больше этого мужика я не видел. А ведь так и просится на страницы Максимова. И как тут не сказать: "Боже мой! Как грустна наша Россия!"

"А по миру ты, падаль, ходил, когда у тебя рожа полметра на полметра?"

Хоть сам и не ходил, а знаю.

На той же Рязанской железной дороге. В 11 ча-

сов вечера. Две скамейки (одна против другой). Два человека. Против меня офицер. Подходит человек. Мужчина лет за сорок. Садится рядом. Говорит: "Денег нет. Вот поступаю на работу. А копейки нет. Не знаю. Говорят, к церкви ходить. Хочу сейчас к церкви".

– Что за церковь в одиннадцатом часу? Из заключения?

– Да, вроде того.

Прислушиваюсь к интонации. Интонация не нищенская, не попрошайническая. Чувствуется, что не профессионал. Даю ему какую-то мелочь. Рубля два, три. У самого, учителишки, денег не ахти сколько.

Когда он уходит, возвышает свой благородный голос офицер: "Напрасно ему подали. Не надо их поощрять".

– А что делать человеку, если нет ни копейки. На работу только что поступил. Зарплата через месяц. Как человеку жить?

– Ну можно взять аванс.

– Так не дадут же, кто даст аванс. Только что поступил на работу. Да может и не поступил; если из заключения с режимным паспортом – не примут.

Офицер сказал: "Ну, не знаю! Подавать милостыню, это не метод". И уткнулся в газету.

И я в этот момент понял, почему Христос так не любил фарисеев, предпочитал им блудниц.

Любая проститутка симпатичнее просвещенного советского офицера с газетой в руках и с партбилетом в кармане.

"А на четыре табуретки тебя, гад, бросали? А чулки с песком по тебе ходили?"

Хоть самого на табуретки не бросали и чулки с песком по мне не ходили – но видел, знаю, как это делается.

Вот сидел я с бродягой сибиряком. Здоровый мужик. И неглупый, хоть и неграмотный. Был он на военной службе. Потом пошел бродяжить. На Кавказе. И далее его рассказ. Говорит ему приятель: пойдем в Армавир. Там, на краю города, есть хозяйка. Всех принимает. Здорово. И жалеет нашего брата.

"Пришли. Приняли нас. Поужинали. А рядом у соседей аист. Где-то достали. Надо же. Соблазнился мой кореш, да к вечеру и зарезал аиста. Сразу узнали. Подняли шум. Говорят: "Главное аист. Это же священная птица".

Легли. Проснулся я в 3 часа. И на сердце тяжесть. Бужу кореша: "Петька, Петька, идем отсюда. Сейчас на ночной поезд. И едем".

"Да что ты? Здесь железно. Говорю тебе – железно".

А утром пришли. В милицию. В подвал. Раздели догола. Да как начали лупить. Душу чуть не вытряхнули. Спасибо не убили".

Бродяг, между прочим, по милициям часто убивают. Ведь ни имени, ни фамилии не известно. Ищи потом ветра в поле. Сам видел: все тело у него в синяках. А чулками с песком лупцуют. А банок дают. А железным жезлом, обернутым в бумагу, бьют, разложив на четырех табуретках да на скамейках! Всюду и везде. И по милициям, и по тюрьмам, и в армии. И кто только этим не занимается: и менты, как зовут милиционеров, и вертухаи по тюрь-

мам, и дружинники, и надзиратели, и сами заключенные, и сами солдатики друг друга лупят. Так что прав ты, Валет. Тяжело живется русскому человеку.

А то вот еще: в Москве, на Чистых Прудах, на бульваре, всегда можно увидеть своеобразную пару. Старик с седой бородой, как у Льва Толстого, слепой, а с ним крохотная женщина на костылях. Приходят на бульвар часов в 5 утра. И на бульваре до 11 часов вечера. Летом. Иногда она читает ему газету. Однажды, видели, чинила ему кальсоны и плакала при этом. В дождь заходят на станцию метро. Иногда едят хлеб с луком, пьют молоко из бутылки. В одиннадцать на метро и на Северный вокзал. На ночной поезд. И катят до Загорска. Там вздремнут на вокзале. С утренним поездом опять в Москву, на бульвар. Он человек грубоватый; как-то рассказывает мне какой-то мужичонка, типа зощенского героя: "Я подошел к нему, спрашиваю: откуда вы? А он: "Иди, иди себе, кобел!" – Правильно! Чего тебе от него нужно? Я тоже бы так ответил.

Как-то подошла к его спутнице моя свояченица, очень добрая женщина, говорит: "Вам ночевать негде. Приезжайте к нам в Пушкино. У нас своя дача". Она отвечает: "Мы же Вам весь дом провоняем". – Это ничего, не стесняйтесь.

Договорились: на другой день в шесть часов вечера даст ответ.

Пришла свояченица. Их нет. Видимо, испугались.

Кто они? Откуда? Никто не знает. А до сих пор, верно, ходят.

Года два назад сказал жене по телефону: "Вот

вернусь в Москву, и будем мы ходить с тобой по бульвару, как та пара. Помнишь?" Жена ответила: "Они до сих пор ходят".

Прав ты, Валет. Тяжело живется русскому человеку.

И Зяма со своей лирической любовью к Дусе и с тихими жалобами на судьбу. И Степан, народный богоискатель, который говорит Савве, что без Бога жить нельзя. И жалуется: церкви мертвые.

Церкви мертвые! А почему? "Много закрытых, опоганенных церквей". А остальные, не закрытые? Живы ли они? Есть ли там истинное благодатное Христово слово, которого жаждет душа человеческая?

Если попадут эти строки на глаза кому-либо из епископов или священников, пусть вдумаются они в горький смысл этих слов. Почему церкви мертвые?

Потом игра в карты, за которой обыгрывают несчастного Зяму. И в заключение, рассказ Зямы.

Любят блатные ребята слушать романы.

"Герцогиня была в обмороке. Человек в маске наклонился над ней и сказал: "Ваше высочество, вы свободны".

Придя в себя, она подняла на него свои небесно-голубые глаза и умоляюще спросила: "Скажите мне ваше имя, о благородный юноша!"

Но человека в маске уже скрыла темная ночь" (стр. 366).

И все внимательно слушают. И что-то новое, чистое пролетает в комнате. И это чувствует и Савва.

"Пожалуй, впервые после короткого и уже почти забытого детства Савва засыпал легко и бездумно, как после дня рождения. И снились ему звезды, вклеенные в блистающее вечерней синевой окно" (стр. 367).

И это правда. Именно так действует рассказ, простой и бесхитростный, на простых русских людей. Я много раз видел это в свои кочевья по тюрьмам и лагерям. Опять катарсис. Простые, темные люди!

Но были ли более учеными полуграмотные афинские ремесленники, собиравшиеся на представления трагедий во времена Эсхила и Софокла.

И бунт. Первая взбунтовалась Дуся. Отказалась пойти с мастером. Он ее бьет. Вступается Зяма. И ребята на его стороне. Уходит мастер. Первая победа. А потом исчезает Зяма. И находят его полумертвого. И около него валяется хлыст хозяина.

И убийство мастера взбунтовавшимися рабочими. Хорошо описывает убийства Максимов. Таких описаний в его рассказах несколько. Без натурализма. Целомудренно и просто. И здесь так. Хотят заставить мастера самому на себя руки наложить. Не выходит. Но вот появляется богоискатель Степан.

"Не гневи Бога-то, – глухо и отрешенно раздался с порога трубный Степанов голос. Никто не слышал, как Степан вошел, и он стоял за спиной у всех, ожидая, наверное, своего времени, – я грех возьму.

И послышалось в Степановом тоне что-то такое, перед чем Валет не мог не отступить. Дуновение беды, что ли. И Валет отступил.

Степан двинулся на мастера, сразу отгородив его ото всех и от всего, и все так же отрешенно, только может быть чуть глуше, бросил через плечо:

"Идите, братове, там раб Божий Зиновий отходит" (стр. 389).

Одновременно уходят из жизни убийца мастер и избитый им на смерть Зяма.

И опять Некрасов. Крик "наддай", когда Савелий столкнул в яму немца-управителя.

И еще другие строки:

"Чудо с отшельником сталося;
Бешеный гнев ощутил,
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил!
Только что пан окровавленный
Пал головой на седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло.
Рухнуло древо, свалилося
С инока бремя грехов!
Господу Богу помолимся,
Милуй нас, темных рабов".

ПЕРЕДО МНОЙ И НАДО МНОЙ
"СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНЬЯ"

"Я отвык от тех снежинок,
Странен танец их земной,
Словно ходит белый инок
Предо мной и надо мной".
Странник. "Тихие стихи".
"Русский альманах". Париж, 1981 г., стр. 115.

"Коммунисты". Это слово склоняется в эмигрантских писаниях на каждой странице, через каждые десять слов. "Коммунисты" и Ленин. Кто сделал революцию? Коммунисты и Ленин. Как это произошло, что в три дня рухнул та́кой чудесный строй, да еще возглавляемый "святым" царем? Коммунисты и Ленин. Да еще мудрым царем? (Таких комплиментов он и при жизни не слыхал). Опять причиной коммунисты и Ленин. Кто виноват во всех бедах, постигших Россию и весь мир за последние 76 лет? Коммунисты и Ленин. Так неожиданно в эмиграции перелицовывается известное четверостишие Маяковского:

"Ленин и партия – близнецы-братья.
Кто матери-истории более ценен?
Мы говорим: Ленин. Подразумеваем: партия.
Мы говорим: партия. Подразумеваем: Ленин".

Ну, а с другой стороны – в Советском Союзе? И говорить нечего. С тех уже и спрашивать нечего. Там и вообще, кроме этих двух слов, ничего не зна-

ют: партия – Ленин, Ленин – партия. Философы-семантологи учат: ко всякому понятию надо найти референта. Итак, что такое партия?

* * *

И нашел референт Максимов. Партия – это Лашковы. А кто такие Лашковы? Русские люди. Мы все, каждый из нас. И первая часть называется "Путешествие к себе". И уже на первой странице перед нами старый, заслуженный коммунист Петр Васильевич Лашков. Это новый тип. Сравнительно новый. Коммунист – "действительный статский советник". Штатский генерал. Все, как полагается действительному статскому. Солидность. Он важный, методичный. Слов зря не бросает. Даже с дочерью родной три-четыре слова скажет. И довольно. Методичность. В семь встает. Стучит в стенку, дочери. Завтрак. Чинно, спокойно. Не спеша. Утренняя прогулка. С палкой в руках. И палка мерно постукивает. И все с ним здороваются почтительно. А он отвечает размеренными кивками головы. И совершив утреннюю прогулку, возвращается домой. И проводит время, как любил выражаться Салтыков-Щедрин, "в приличествующий сану размышлениях". Никто не может вывести его из этого состояния. И ничто не может. Он потерял всех сыновей. И кроме холодной сентенции или положенного вздоха о погибшем в Отечественную войну ничего, ни одного слова. Важность, замкнутость, окаменелость. Вот только сны не те. Сны мешают.

"Сны Петра Васильевича вообще отличались в

последнее время диковинностью и пестротой, а сегодня ему снилось и вовсе что-то уж совсем ни с чем не сообразимое... Известные всей свиридовской слободке воры, братья Ломские, волокли мимо его окон паровозную трубу в детской коляске и при этом озорно подмигивали ему: пошли мол" (В. Максимов. "Собрание сочинений", том 2, "Семь дней творения", Посев, стр. 7). Ему за семьдесят. Жизнь окончена. Заслуженный отдых. И вдруг взрыв. Оказывается, ничего еще не окончено. Все только начинается. И как предисловие к повести — символ. Символы вообще непрестанно врываются в повествование у Максимова. Уличное происшествие. Воришка разбил в магазине окно. И в разбитом окне — камуфляж окорока на камуфляжном блюдце в окружении камуфляжных колбас. И стремительный рывок. Туда, в годы юности. Рабочие волнения в железнодорожном поселке. Пулеметная очередь. Развороченная витрина лавки купца Туркова. И оттуда "соблазнительно, поддразнивая его янтарным своим срезом, копченый окорок. Настоящий копченый окорок. И шустрый мальчишка из многодетной семьи Петька Лашков ползет под пулеметным огнем через площадь к окороку. Он избег смертельной опасности, проявив чудеса храбрости, дотянулся ползком до магазина, с бьющимся сердцем просунул руку и... о ужас! окорок оказался бутафорией. Раскрашенным картоном. "И лишь тут страх преодоленного пути коснулся Петьки, и Петька заплакал, нет, не заплакал — завыл от ужаса и обиды". "Братцы, что же это, братцы-ы, а?" (Там же, стр. 13). Глубокий символ. Яркий. Запоминающийся.

Символ всей советской жизни. Десятки миллионов людей, и он, фанатик, в кепочке, с бородкой – и другой, тоже с бородкой, в пенсне, близорукий, говорливый, и необозримые, необозримые, разбуженные ими, проявили чудеса храбрости, энергии, таланта, потрясли весь мир. Чтоб достичь земной рай. И в результате – бутафорский окорок из раскрашенного картона. И отсюда вой: "Братцы, что же это, братцы-ы, а?" И в каждом русском сердце – зловещим эхом отдается этот вой.

Максимов, который, верно, никогда не задумывался всерьез над теориями Фрейда, неожиданно сумел очень глубоко раскрыть понятие "подсознания". Петр Васильевич сам не понимает, почему уличное происшествие и случайное воспоминание об инциденте почти шестидесятилетней давности так его взволновали. И почему сегодня утром на него такое впечатление произвел странный, виденный им сон: сосед его, Санька Боев, охватив "московскую" за горлышко, пьяно скалился в его сторону. "Врешь ты, старый дурак". И с этого сна, с этого случайного воспоминания начинается в старике тот сложный и мучительный процесс, о котором мы говорили выше и который еще древние обозначили звучным словом: "катарсис". Первое и как будто совсем незначительное. Он заходит впервые за много лет к дочери. (Живя с ней в одной квартире лет двадцать, он ее не замечал и никогда с ней по душам не разговаривал). Заходит к ней и застает ее пьяной. Она трепещет строгого отца. Но неожиданно он оказывается мягким и добрым. Успокаивает ее: "ну, выпила, с кем не случается". И в этот же день он встречает по-

хороны. Хоронят его давнего сослуживца, с которым когда-то дружил: Лескова. И опять излюбленный Максимовым "тургеневский" прием: обращение в прошлое героя. Петр Васильевич по профессии железнодорожник — контролер, т.е. очень маленький человек. Однако железнодорожники — особого типа люди. С одной стороны — грубость. Резкий хамский тон. Ведь в поезде он хоть и маленькая, но все-таки власть. Шпана, безбилетники-зайцы перед ним трепещут. Со всеми другими он также всегда говорит хамским тоном. Так всегда в Советском Союзе, где занять место в поезде не так-то просто. А от контроля зависит любого человека посадить в поезд вне всякой очереди, предоставить ему лучшее или худшее место. В результате, как говорил Достоевский, "административный восторг". Характерно, что в качестве примера Достоевский приводит именно железнодорожников: "... поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность, — говорит в "Бесах" Степан Трофимович, — у продажи каких-нибудь билетов на железнодорожную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером". Да еще, если эта "ничтожность" — старый член партии, влиятельный в масштабах железнодорожного поселка человек, к тому же и не совсем "ничтожность", человек он неглупый, по натуре властный. "Петр Васильевич всегда считал себя правым. Всегда и во всем. И не было силы, какая смогла бы переубедить его в этом. Может быть, такого рода убежденность откладывала в нем профессия. Безраздельно властвуя в местном пассажирском, он в дни, свободные от поездок, и с домаш-

ними усвоил поездную форму обращения. Самым употребительным в его лексике было слово "нельзя". Нельзя то, нельзя это. Нельзя вообще ничего. Но дети росли, и мир с каждым следующим днем становился для них шире и выше его "нельзя". И они уходили..." (там же, стр. 15). Здесь Максимов великолепно схватил психологию советского бюрократа. Всякого. Вплоть до "самого" товарища Сталина — этого, по выражению одного моего приятеля, гибрида Малюты Скуратова с советским бюрократом. И в детях Петра Васильевича —вся история советского общества. И в том, как реагирует на судьбу своих детей Петр Васильевич — советский человек. "Повесть о настоящем человеке".

"Старшего — Виктора — лекальщика с "Динамо" взяли прямо из цеха, с тем только, чтобы, обозначив в протоколах, пустить в расход. Петр Васильевич бровью не повел. Второй —Димитрий — нарвался на свою лютую долю у линии Маннергейма. Петр Васильевич и не поперхнулся. Дочь — Варвара — в смертельных родах отдала век четвертому чаду своему, здесь рядом — в Углеводске. Ему и об этом недосуг было печалиться. С младшим сыном его — Евгением — плохую шутку сыграл "фауст-патрон" под Кенигсбергом. Отец лишь вздохнул слегка. И наконец брошенную мужем с тремя малолетками на руках — Федосью — схоронили на казенный счет и детей рассовали по детдомам. "Что же, — только и подумал он, — сами себе долю выбирали" (стр. 16). И вдруг удар. Неожиданный. Ужасный. Смерть жены. "И лишь тут, около этого, неожиданно для него оказавшегося небольшим и сухоньким тела жены,

Петра Васильевича коротко обожгло такой болью, таким неведомым дотоле смятением, что он испугался вдруг своего одиночества, испугался до черноты в глазах, и чтобы не соблазняться сладкой жутью посмотреть на себя со стороны, он зажмурился сердцем и замолк:: (там же, стр. 16). Но по натуре он человек страстный и импульсивный. И где-то в глубине души есть сознание справедливости. Инцидент с гулящей девкой безногой, на протезах, с которой сблудил его заместитель Лесков и потом (в издевку) выкинул ее из вагона, спрятав ее протезы. Он избил Лескова до полусмерти. "Никогда, ни раньше, ни позже, Петр Васильевич не испытывал подобного желания сбить, смять, уничтожить стоящее перед ним существо. Кровавые круги плавали у него перед глазами, а он все бил и бил, и бил... – Мразь... Мразь... собака, – только складывали его губы, – Мразь... собака..." (стр. 27). Узнав о его смерти случайно, зашел на другой день после похорон Петр Васильевич к нему в дом, к его вдове и сыну, который был его крестником. А сын Николай только что вернулся из лагеря. Отбыл пятерик. За то, что "врезал одному начальнику промеж рог". Живет без прописки, незаконно. И впервые после многих лет – в Петре Васильевиче что-то человеческое. Он способствовал браку Николая со своей дочерью. И устроил ему, пользуясь своими старыми связями в райисполкоме, прописку... И тут промелькнула фигура внука Вадима (от того несчастного Виктора, которого пустили в расход). Этот как будто преуспевающий актер-эстрадник. Приезжал сюда на гастроли. Но чует дед, что-то неладно у внука. И воспоми-

нание о брате Андрее, как посещал его, раненного в голову и безнадежного, лежащего в больнице, в сумасшедшем доме, и как жил около него, беспамятного, пока тот не пришел в себя и не стал поправляться.

* * *

Эта глава "Первый день" из "Семи дней творения" оканчивается лирически и печально: дочь, единственная оставшаяся с ним дочь, уезжает со своим новым мужем Николаем. Старик остался один, как перст. Пробовал посетить другого брата Василия, живущего в Москве, в дворниках. Но ничего из этого посещения не вышло. Ушел от брата, не попрощавшись. И сухой человек Петр Васильевич вдруг мягчает. "И озарение, так долго и трудно ожидаемое им озарение, постигло Петра Васильевича". "От них шел, от них, а не к ним! Свету, тепла им, да и никому от меня не было... Заново, заново все надо начинать, и лучше поздно, чем никогда". Так думал Петр Васильевич. "Он думал и шел" (стр. 88). И этой лирической, слегка отдающей Толстым нотой оканчивается глава "Понедельник". Таков старт. С этого начинается "Семь дней творения". Лучшее, наиболее значительное из произведений Максимова. Одно из лучших произведений писателей "солженицынской плеяды".

И "Вторник". Второй день. Опять Лашков. Второй брат. Андрей Васильевич. Тоже коммунист. Для Петра Васильевича – это, пожалуй, единственный близкий человек. Его одного он, пожалуй, лю-

бит. И даже в пору своего "окаменения" этого брата он не забыл. Дежурил при нем во время его болезни. Он лесничий. И в отличие от старшего брата он не окаменел. В нем – человеческие чувства. И любовь к лесу, родному лесу. "Гибель любого дерева, куста, да и просто ветки, в особенности неестественная, насильственная, воспринималась Андреем Васильевичем как глубоко личная и невосполнимая потеря. И он всякий раз заболевал, долго печалился душой после каждой незаконной и даже законной порубки. А лес вокруг него рубили нещадно, и даже рубили с каким-то хмельным и горьким сладострастием. Рубили с делом и без дела, благо он стоял под боком – рослый, но беззащитный" (стр. 91). Как известно, в 1955 году, после смерти Сталина, появился роман прославленного советского писателя Леонида Леонова "Русский лес". Вся читающая Русь восторгалась главой о лесе. Сюжетно эта глава вклинилась в роман в качестве лекции проф. Вихорева – ученого-лесовода. Это энтузиаст леса и резкий противник безумной хищнической политики истребления лесов. Однако какая разница с Андреем Лашковым. Там любовь головная, основанная на изучении предмета, основывающаяся на многолетнем изучении лесоводства, на глубоком знании науки о лесе. Андрей Лашков не такой: он, по существу, очень мало знает о лесе, он простой деревенский человек. Он любит лес, и ему его жалко. Вообще из всех Лашковых Андрей – самый жалостливый. Ему несвойственна ни жестокость старшего брата, ни угрюмая уединенность другого брата, ни резко выраженный индивидуализм племянника. Он человек

мягкий и потому тянется к брату, как всегда мягкие, женственные натуры тянутся к властным, волевым. "Брата он боготворил. При каждой встрече тот заражал его своей ожесточенной решительностью и верой в их – Лашковых – назначение в общем деле" (там же, стр. 95).

Максимов очень колоритно показывает Андрея Лашкова во время войны, когда ему дали своеобразное задание – угнать скот из родного Бибикова в предвидении эвакуации. Гнать его надо на юг, к морю. И опять символизм. Такой же, как в "Саге о Савве", где также целью двух парней является пробиться к морю. "На пути к морю" так можно было бы назвать главу "Вторник". Волна эвакуации. Массы народа движутся на Кавказ. Гонят скот. Разнообразные типы. Разномастная, пестрая, разноязычная толпа. Андрей – мягкий, нерешительный, но трудолюбивый. И около него неожиданная фигура: старый врач-ветеринар, прикомандированный к стаду. Старый, бывалый интеллигент. Человек с весьма подмоченной репутацией. Из "бывших". Видимо, из военных чиновников. Идеалист. Участник корниловского похода. Был в лагере. Интересная попытка осмыслить провал корниловского движения – этого самого героического потока в белом движении. "У меня есть о чем вспомнить. Разве Вы, Андрей Васильевич, слышали когда-нибудь, к примеру, о ледовом походе? Конечно, откуда? А мы тогда единой душой за Лавром Георгиевичем. Без страха и упрека, так сказать. Я ведь не страшусь теперь рассказывать: отбыл свое. Далеко – в Потьме. Чего-то мы тогда не учли. А чего, не знаю. Впрочем,

знаю. Психологии русского крестьянина не учли. А ведь нас должна была научить пугачевщина. Максималист он, анархист, мужичишко наш православный. Он одним днем живет, а мы ему Царство Небесное..." (стр. 106-107). И Лашкову приходится что-то осмыслять, что-то переоценивать: "И вовсе не совесть здорового тыловика мучила Лашкова. Как раз здесь все было для него ясным. Ему приказано – он выполняет. Прикажут идти на фронт – пойдет. Просто мир вдруг разделился перед ним на тех, кого гонят, и тех, кто гонит. Они – Лашковы – всегда, сколько Андрей себя помнил, принадлежали ко вторым. И в нем, как ожог, возник вопрос: "А почему, по какому праву?" Дальше для него начиналась бездна, и чтобы не думать дольше, он пустил лошадь в галоп" (стр. 106). Бездна начиналась для обоих. Старый офицер-корниловец Бобышко правильно констатирует, что русский крестьянин – максималист, он хочет немедленного действия, но он и фантаст, идеалист (хотя и крепко держится за материальные блага). И Пугачев, и Ленин с Троцким победили именно тем, что они посулили мужику несказанное, невиданное, фантастическое. Сказку. А Лавр Георгиевич Корнилов? Что он мог посулить мужику? Реставрацию? Реставрацию, если не старого строя полностью и целиком (генерал Корнилов, как известно, монархистом не был), то так или иначе реставрацию. Если не полную, то на три четверти, а другие еще почище: помещика, военную диктатуру, коронование. ("Теперь у нас одно желание – Скорей добраться до Москвы, Увидеть вновь коронование, Спеть у Кремля Алла-Верды").

А пока что шомпола, виселицу, возвращение барина. А теперь, у Лашкова что? Тогда, в 1941 году, новый класс еще формировался. Но все достаточно отчетливо и ясно: господство советских нуворишей, которые твердой рукой закабалят простой народ (в качестве комиссаров, офицерни, партийцев, чекистов, хозяйственников), а пока что колхозы, КГБ и "великий Сталин". Ужас в том, что никто ничего не мог предложить народу. И поэтому народ ничего не делал, никого не свергал, дрался с вторгнувшимся неприятелем. И лишь где-то в глубине души самому ему неясная мечта – стремление к морю. Ни Максимову, ни его героям не свойственно "народничество" в плохом смысле этого слова: он отнюдь не идеализирует ни народ, ни своих героев. Потрясает читателя эпизод с цыганами, когда Андрей разрешил цыганскому табору ехать в его потоке. И как сначала обманул, притворившись больным, а потом очаровал Андрея и всех молодой цыган. А потом, во время устроенного им концерта, цыгане увели лошадей. Потрясающая сцена – сгоряча зверски убили мужики цыгана, которому только что аплодировали. И другой эпизод с осквернением храма, когда Андрей загнал скот в храм. И искренне не понимает, почему пожилые мужики недовольны и даже некоторые отошли от его потока: "Двадцать с лишним лет Советской власти, – суетно кипятился он, – а у них все ладан в голове. Долбишь, долбишь им: "Нету никакого Бога, сами хозяева". А они опять за свое. Сколько же долбить можно. Пора бы ихнему брату и за ум взяться. Вот Вы, Григорий Иванович, Вам бы и карты в руки разъяснять темноте, что к че-

му" (стр. 138). Да, так и должен говорить деревенский коммунист Лашков, сменивший примитивную крестьянскую веру на еще более примитивный атеизм. Примитивный атеизм (не надо закрывать на это глаза) является господствующей идеологией, он свойственен, примерно, 60-70 процентам русского народа. Что придет ему на смену? Из примитивной религии ("Илья-пророк по небу ездит") народ уже вырос и никогда к ней не вернется. Лашковы от этой религии ушли, – и это надо понять раз и навсегда эмигрантским "блюстителям веры". Лашковы от примитивного атеизма могут придти только к настоящей, истинной вере – к Христу, а не к монархическим иерархам, которые держат у себя под подушкой "Протоколы сионских мудрецов", упиваются Нилусом и лелеют мысль о возвращении к временам Александра III. От этого Лашковы ушли и никогда к этому не вернутся. И все-таки "она вертится". И никуда Лашков от веры не уйдет. Истинной веры. "У него возникло такое ощущение, будто кто-то незримый, неведомый ему, вроде этого старика, каждодневно устраивает проверку каждому его поступку и мысли с тем, чтобы однажды спросить с него каким-то своим, особенным спросом. И впервые в жизни Лашкова обожгла простая до жути мысль: "А ведь ответишь, Андрей, свет Васильев сын, за все ответишь" (там же, стр. 155). А пока что не то. "Гнев, от которого у него похолодели кончики пальцев, захлестнул Андрея. "А ну прочь с дороги, лампадные рожи! – в исступлении закричал он и кровавые круги вспыхнули у него перед глазами. – Народное добро гибнет, а ты, гад, цер-

ковную саботаж разводишь!" В удар он вложил все: и неудачную любовь, и знойную горечь пройденной дороги, и все отвращение к окружающей слякоти, и даже обиду за эту вот минутную слабость. Марк, скатившись по ступенькам паперти, ткнулся головой в снег. И темное пятнышко стало взбухать на мокром снегу прямо под его теменем. – Загоняй! – Андрей уже совсем не помнил себя, срывая отомкнутый замок. – Загоняй, говорю!" (стр. 137-138).

* * *

В настоящее время в эмигрантской литературе укоренилось "щегольство эротикой", не говоря уже об абрикосовской похабщине, и более серьезные писатели необыкновенно любят "обнажать перед читателем свои обычно закрываемые части тела". Один из наиболее талантливых из недавно эмигрировавших писателей В. Аксенов пишет: "Труднее всего впервые снять штаны перед посторонней женщиной". Перед посторонней женщиной снять штаны трудно, а перед читателем нетрудно! Любуйся, мол! Конечно, в этом есть некоторая доля протеста против ханжества, укоренившегося в советской литературе со времен Сталина. Но следует ли впадать в другую крайность? И автор "Семи дней творения" – здесь может быть учителем. Роман Андрея с Александрой, их отношения – все описано целомудренно, чисто, без малейшего смакования эротических моментов. Ліричность! Вообще русский человек по натуре не распутник. И лирика, тонкость чувств

свойственны не только князю Болконскому, княжне Марье и Наташе Ростовой, но и простым людям – мужчинам и женщинам – крестьянским парням и деревенским девчонкам. Григорий Мелехов и Анисья у Шолохова, Андрей Лашков и Александра у Максимова – персонажи, которые могут стать классическими. В конце главы Андрей на перепутье. Многое испытал он, многое увидел во время своих странствий со скотом. И сам не знает, куда теперь. Когда Бобошко пытается поговорить с ним по душам, раздражение и крик: "Слушай, дед, – безотчетное исступление душило его, – иди-ка ты отсюда к чертовой матери. Я этими байками сыт по горло. Надоели вы мне все хуже дерьма, ненавижу я вас всех, как не знаю кого. Будьте вы все прокляты! И не дразни ты душу мою грешную, бери ноги в руки и дуй своей дорогой, а то не отвечаю за себя..." Оглохнув от собственного крика, он не слышал, как Бобошко все той же шаркающей походкой отправился к дороге и молча растворился в ночи, оставив Андрея наедине с темью и его криком" (стр. 163). И конец. Андрей идет в армию, на фронт. Это не разрешение всех назревших вопросов – это уход от них. "Но – странное дело! Его при этом не покидало чувство, что сегодня, даже, вернее, вот сейчас им перейдена какая-то очень важная для него черта, вещий какой-то рубеж, после которого жить ему будет яснее, проще, просторнее. С этим облегчающим душу чувством он и запряг, и двинулся в путь, и въехал в усадьбу лесничества (стр. 166). И на этом мы надолго прощаемся с Андреем Лашковым.

* * *

И "третий день творения" — среда. Быть может, наиболее сильная глава. Это несколько напоминает Золя "Кипящий горшок". Один из романов серии "Ругон-Маккаров". Но это русский Золя. Натурализм, тронутый русской неизбывной, хватающей за душу тоской. Характерный момент: у Золя — гибнущий дом, потерянные люди, но и победитель, преуспевающий, обаятельный, сильный Октав Муре. Он выйдет из этого дома. Он станет хозяином жизни. У Максимова тоже "кипящий горшок". Но без Октава Муре. Без победителя. Ни один из героев не выйдет из этого омута. Единственный выход — смерть. И глава начинается с конца. Василий Васильевич Лашков — старик. Он уже на пенсии. Живет одиноко, уныло. Единственная отдушина — раз в месяц — недельный запой. Он поступил в этот дом дворником еще молодым. При нем жили, старели, умирали люди. А теперь и его жизнь тоже кончена. И он вспоминает. И через призму его воспоминаний, воспоминаний больного старика — писатель дает жизнь обитателей этого дома. Уже с самого начала повествование как бы овеяно грустной дымкой, как бы обведено траурной чертой.

И уже на первой странице — символ. Старуха Шоколонист. Бывшая хозяйка этого дома. Сухая, одинокая. Вечно ходит и бормочет. Поднимает щепочки. Обломки. От дома. От старого дома. Никогда ни с кем не говорит. Молится по ночам. У нее в комнате никто никогда не бывает. У нее в комнате. Где лишь бормотание и спертость. И лишь издали

прислушиваются к звукам из ее комнаты, к "страшным злым речам, Где кто-то молится и плачет. Так долго плачет по ночам" (Ф. Сологуб). Ее помнит Василий Васильевич, когда еще молодым въехал в дом. И теперь уже старик. А она все такая же. И все так же поднимает щепочки. И он хорошо знает, что она переживет и его. Так и вышло. И на последней странице. Перед самой смертью. "Василий Васильевич даже поддался весь вперед и вдруг увидел в глубине двора, там, где когда-то стоял штибелевский дом, старуху Шоколонист. Черная и крохотная – она стояла, беззвучно шевеля губами, и постепенно вырастала, увеличиваясь в его глазах, пока не заняла неба перед ним, и он рухнул на подоконник, и, наверное, только земля слышала его последний хрип: "Господи-и". (Стр. 209). Итак, символ. Но символ чего? И зачем? Символ старой России. Верно, так. Уж не предчувствовал ли ты, Владимир Максимов, когда писал это, своей жизни за границей? Своей встречи со старой эмиграцией? Ась? И еще один силуэт старой России. Гвардейский полковник Козлов – ныне "военспец". Гвардия. Но не только "лейб-гвардия". Старая гвардия, которая умирает, но не сдается. Его уплотняют. Участковый уполномоченный приводит к нему препоганого типа. Стукача. Тюремщика. Из Бутырок. "Дверь открыл сам хозяин. Несмотря на поздний час, Козлов встретил их не в халате, а в тщательно отутюженной паре военспеца, и меловые усы его, выдержанные в лучших гвардейских традициях, были вызывающе нафабрены. "Прошу вас, гос... – хозяин осекся, но тут же вышел из положения, – ... тям здесь всегда рады.

Я знаю, – предупредил он взявшегося за планшет Калинина, – вы привели мне соседа. Очень прятно, молодой человек. – Старик учтиво поклонился в сторону Никишина. – Мне уже сообщил управляющий. Так что, Василий, – он пожал узкими плечами, обращаясь к Лашкову, – тебя напрасно побеспокоили, дружок". Едва ли даже и куда въедливей, чем Никишин, выудил бы из всей этой безукоризненности хотя бы одну фальшивую ноту, но в том, с какой подчеркнутой вежливостью округлялась хозяином каждая фраза, и в том, какая учтивость исполняла каждый его жест, сквозило такое высочайшее презрение к новому соседу, даже брезгливость, что и ко всему равнодушный Калинин позволил себе одобрительно улыбнуться" (стр. 189). Прочел эти строки, и так и пахнуло на меня детством. У нас в старом питерском доме, принадлежавшем когда-то известному купцу виноторговцу Елисееву, жил старый гвардейский полковник (да, да, тоже полковник) Добровольский. Ходил он всегда в военной форме, в шинели, но, конечно, без погон. Холодное, как бы застывшее лицо. Разговоров никогда ни с кем. Один раз только, помню, когда моя бабушка сходила с трудом с высокой панели, подошел к ней, взял ее под руку, помог сойти. Ни с кем никогда не общался, и лишь когда умерла жена старого дворника Михайлы, служившего в доме лет 50, еще задолго до революции, зашел, склоняясь высокой красивой фигурой в дворницкую, поклонился праху усопшей и возложил к подножью старушки цветы. Впечатление такое, что Максимов знал полковника Добровольского, хотя знать его он не мог. Его тогда и

на свете не было. И полковник Козлов такой. Когда Никишин поздравил его с Октябрьским праздником и протянул ему руку, "мой молодой друг, – сказал старик, и, уже откровенно издеваясь, убрал руку за спину, – я человек глубоко верующий и отмечаю лишь христианские праздники, а также день рождения престолонаследника Алексея Романова... Прошу простить" (стр. 190). Такой же он и в момент ареста. "... дверь в кабинете Козлова широко распахнулась, навстречу ему вышел сам хозяин, туго затянутый в свою обычную военспецовскую пару, заправленную в начищенные до зеркального блеска сапоги. "Прошу вас, господа! – на этот раз старик не осекся и в слове "господа" отчеканил каждый слог, недвусмысленно давая понять тем самым, что он в полной мере отдает себе отчет в предстоящем, но что именно поэтому и не намерен ничем поступиться, – я готов". Его тоном, его горьким высокомерием и этой вот иронической обреченностью и определилась атмосфера ареста. Гости стали тише, скупее в движениях и разговорах, работая быстро и деловито" (стр. 201, 202).

В этой главе старая Россия разнообразна. И наряду со старухой Шоколонист и полковником Козловым – старое интеллигентское семейство Храмовы (старуха, сын и дочь). Очень яркая картина дворянского вырождения. Старуха – дочь известного композитора. Когда вселяют в квартиру жильцов, в порядке уплотнения, кричит, бьется в истерике, ругается, грозит. Сын, артист, горемычный, слабенький, мягкий, уговаривает мать успокоиться. И дочь. Психически ненормальная. Офелия. Ее образ нарисо-

ван мягкими штрихами. Она не от мира сего. Солнце, музыка, грезы. Блаженная улыбка. Она любит рояль. И пальчики у нее тонкие, нежные. И дальше судьба семейства. Сын женится на проститутке. Ее арестовывают. Высылают. Он спивается. Пьяным ведет длинные разговоры с Лашковым, который ни слова в них не понимает, но жалеет беднягу. Несчастная старуха Храмова бьется, как рыба об лед. Вынуждена продать рояль. Рояль дочери. Когда рояль продали, дочь сходит с ума окончательно. Буйствует. Связывают. Увозят в сумасшедший дом. А брат ее рыдает, мирится с матерью, умирает от саркомы и в предсмертном бреду все ведет умные разговоры, оплакивает Россию. А старуха, лишившись обоих детей, неожиданно приспосабливается, идет в больницу работать санитаркой.

Конец старой России! Ее уже никто никогда не сможет воскресить. Ни великие князья, ни графы, ни монархически настроенные зарубежные архиереи.

И другое поколение. Люди 20-х годов. Семейство рабочего Горева. Он коммунист. Но какой-то пришибленный. Без напора, без подъема. Кто он? Троцкист? Член рабочей оппозиции? Группы демократического централизма? Во всяком случае — оппозиционер. По цензурным соображениям автор не может подробно разъяснить. Роман-то писался в Советском Союзе. Мягкий по характеру. Бесхозяйственный. Скромный, чем-то отдаленно напоминающий Шляпникова — лидера рабочей оппозиции. Тот был тоже рабочий, из крестьян Владимирской губернии. Владимирский говорок так и сохранил до

старости. Жена Горева под стать ему. Скромная, робкая. И сестра Горева Аграфена – Груша. Это – бой-баба. Себя в обиду не даст. Деятельная. Энергичная. Хлопотливая. Такие и делали революцию. И еще сделают. Не робкого десятка. И опять символизм. После ареста полковника Козлова идут к Горевым. Арестовывать рабочего коммуниста. И все, как обычно. 1937 год. Отец, нога которого не попадает в башмак. Спящий ребенок. Дрожащая жена. Отец, успокаивающий ребенка, причем ни сам он, ни другие, ни даже ребенок не верят ни одному его слову. Все, как в одном из первых рассказов Максимова "Жив человек". И дальнейшее сходство. В рассказе "Жив человек" подруга мальчика – сына арестованного – говорит, что мама запретила ей гулять с ним. А здесь участковый милиционер предупреждает Лашкова, который должен жениться на Аграфене, чтоб он расстался с ней (сестра врага народа). И мгновенный испуг Василия Лашкова. Мгновенный. Но не простила Аграфена ему этого мгновения. Ушла. Навсегда. Напилась. Связалась с комбригом. Но тут новый персонаж. Отто Штабель. Австрияк. Хорошо описывает Максимов иностранца. Максимов – чистокровный русак – питает к нему симпатию. Да и есть за что. Физически крепкий. Работящий. Аккуратный. Чистоплотный. Напоминает прибалта. Знал я и таких в лагере. Вот один такой. Август. Латыш. В лагере работал санитаром. Чистоплотный. Свою кабинку превратил в райский уголок. Как ему освобождаться, за одну неделю, лагерь наш перевели в новое место. И в новом месте устраивал все так, как будто жить ему здесь годы.

Про него говорила начальница санчасти: "настоящий мужчина". (Ей можно верить, она знала в мужчинах толк). Мы с ним часто ругались: меня возмущало его презрительное отношение к русским. Он не оставался в долгу. Но перед отъездом именно мне (к моему удивлению) он оставил свой тщательно отделанный полушубок на меху. На недоуменный вопрос другого санитара ответил: "Он стоит того". Таков и Отто Штабель. Водопроводчик. Весь дом его уважает. Он и со старухой Храмовой умело разговаривает. И с Василием Лашковым дружит. И он приголубил пьяную Аграфену. А комбрига прогнал. Женится на Аграфене. И строит себе деревянный домишко в глубине двора. Она его любит. И ждет ребенка от него. Но советское государство – самое холодное и самое омерзительное из чудовищ. Начинается война. Его забирают как австрияка. Ссылают в Сибирь. А жена, беременная, выкинула после этого ребенка. Остается вековушкой. А он – в Сибирь. И там, в Сибири, начинает новую жизнь. Опять женитьба. Опять новая семья. Эрзац любви, эрзац жены, эрзац семьи.

Иван Левушкин. Молодой рабочий. Из рязанских крестьян. Есенинский земляк. Видимо, нарочитое сближение. "Ты сказала, что в Коране говорится: месть врагу. Ну а я ведь из Рязани, знать тех строчек не могу". Он действительно не знает и не понимает, что такое жестокость, что такое месть, что такое ненависть. Хороший рязанский парень. Работящий. Услужливый. И один у него выход из пошлости, грязи, жестокости окружающей жизни – водка, вино. Опять как у Есенина – вся, вся как

есть Русь по вагонам, по дорогам, по подвалам распевает эту песнь: "Что вы ругаетесь, дьяволы. Я ли не сын страны. Кто из нас не закладывал за водку свои штаны?" И, как у Есенина, тоска по деревне, по бескрайним рязанским полям, по гречихе, которая цветет ярким цветом. Уход. Странствовать. Бродяжить. И перед уходом жесткое слово Василию: он, оказывается, знает, что тот сблудил с его женой. Знает и прощает. Но тесна Советская Россия. Не постранствуешь. Возвращается опять век доживать в том же доме, в Москве, под крылышком Любаши, своей любящей его, хотя и неверной жены.

И поганая семья Цыганковых. Кулаки. В самом прямом и в самом дурном смысле этого слова. Отец семейства – убийца, бродяга. Два брата – подонки, которые живут за счет сестры-проститутки, бьют ее, требуя от нее денег. А потом, когда она выходит замуж за молодого Храмова, доносят на нее. По их доносу несчастной женщине дают пять лет лагерей. Потом идут на войну. Дезертиры. Одного из них ловят, при попытке скрыться убивают. "Собаке собачья смерть". Мать их, всех ненавидящая, крикливая злая старуха и... почти профессиональная церковница.

Толстому принадлежат слова: "Толстовец, т.е. самый далекий от меня человек". Не так ли скажет Христос про многих церковников. "Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его..." (Мат. 25, 43). И все это на фоне ежовщины, потом войны, потом сталинского разбоя. Все уходят. Никто не нашел себя. Даже тюремный страж. Из Бутырок, Никишин. И тот несчаст-

лив. Выгнали его после смерти Сталина из надзирателей. И бродит он, смешной и жалкий, по двору, все командуя воображаемыми арестантами, но теперь его крик уже никому не страшен. Он жалкая и отвратная карикатура на самого себя. Кончается глава похоронами. Хоронят Аграфену. Все выходят ее провожать. Все плачут. О ней и каждый о себе. А через несколько дней умирает и Василий Лашков. Последний из могикан. Страж этого дома. Конец старого дома. Конец эпохи. В этой главе на один момент мелькает образ Ахматовой, и здесь слова ее соседки по очереди: "А это вы можете описать?" Это не совсем точно: ибо слова эти поэтессе были сказаны не в Москве, а в Питере, в приемной тюрьмы на Шпалерной, где сидел в 1937 году ее сын Лев Гумилев. Но про такие выдумки говорят: "Если это и придумано, так придумано неплохо". И можно закончить наш обзор этой главы ахматовскими словами: "Один идет прямым путем. Другой идет по кругу. Ждет возвращенья в отчий дом, Ждет старую подругу. А я иду – со мной беда – не прямо и не косо, А никуда и в никогда, Как поезда с откоса". В никуда пришли все обитатели московского дома. Оба поколения (и те, кто были свергнуты революцией, и те, кто ее делал) ушли в никуда. Идет новое поколение.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (ЧЕТВЕРГ)

Перед нами представитель "нового поколения". Внук Петра Васильевича артист Вадим Викто-

рович Лашков. "Глядя в последний раз на слегка заснеженные московские улицы, Вадим даже представить себе не мог, что когда-нибудь он снова вернется сюда" (там же, стр. 273).

Этим печальным аккордом начинается повествование о Вадиме. И название этой главы ("Четверг") печальное: "Поздний свет". Вадим дожил до 35 лет, до того возраста, который Данте считает серединой жизненного пути. За спиной многое. Жизнь печальная. Печальная ли? Многим его сверстникам она покажется удачливой. Детство, правда, тяжелое: безотцовщина, детдом, немного у деда. Но потом удача. Что называется, вышел в люди. Актер. Небольшой. Эстрадник. Ездит по провинциям. Но в своем деле не последний. Женат. Брак не идеальный. Но, как сказала мадам Жемчужина Светлане Аллилуевой, существуют ли такие браки вообще. Если так у вождей и премьер-министров, так что же говорить о нас, малых людях. И вот – крах. Какая-то трещина. Надлом? Почему? Отчего? Неизвестно. И сам он точно не мог бы объяснить. А между тем, так. И даже дед, к которому однажды заехал мимоходом, чувствует, видит, замечает что-то не то. Затем попытка самоубийства. И у советского государства на все готовые ответы: его везут в сумасшедший дом. Столбовая. В приятной компании. Буйно помешанный, связанный по рукам и ногам. И унылый проводник. "Эвакуатор". Этот утешает его "веселым разговором". Перспективы обворожительные. "Раз лекарства не помогли – значит туда. – И снова с наслаждением, только теперь особым. – В Столбовую-ю. Там таких навалом... Я бы их та-

ким манером. Что им небо коптить без пользы? В наше время техника на этот счет, знаешь, какая? Закачаешься! Любо-дорого! Один укол – и ваших нет... Выходит, сидеть тебе, милый, в Троицкой – не пересидеть. Здесь у них, как пить дать, и врачи купленные..." (стр. 274-275). Прошлое героя. Как уехал из Узловска после краткого визита к деду. Возвращение домой в Москву. А здесь записка от жены: "Я у мамы. Приедешь – позвони". И если раньше всякая очередная ее ложь вызывала приступ бессильного гнева, то сейчас, мысленно восстановив их – жены и тещи – нехитрую систему взаимовыручки, он только брезгливо поморщился: "Дуры!" (стр. 276-277). История женитьбы. Случайная связь странствующего актера с девушкой. Гостиница. Слезы. Женский плач. Умоляет не бросать, хотя бы временно. Чтобы можно было объяснить матери ночное отсутствие. "А почему бы нет?" Женитьба. Словом, все, как у одного польского художника, который в анкете следующим образом рассказал свою автобиографию. "Родился некстати (1939 г.) – а у этого начало 30-х, еще более некстати, – женился тоже некстати (а как же иначе?), но сейчас мне понравилось рисовать". Ну а этому понравилось – декламировать с эстрады по провинциальным клубам. Он человек мягкий по характеру. Женины слезы все могут с ним сделать. "Вадим не мог ревновать жену, потому что никогда не любил ее, его бесили только победительные улыбочки их общих приятелей и знакомцев, с которыми она флиртовала. Чаще всего – людей пустых и ничтожных. И чем ничтожнее оказывался его очередной соперник, тем нещаднее клял Вадим

свою слабохарактерность. И после происшедшего вслед за этим бурного объяснения все повторялось сначала" (стр. 178). Обманул и театр. Кто-то сказал правильно: "Посредственность в искусстве – невыносима". Посредственный педагог, посредственный врач, посредственный инженер – никому не ведомы. Никто, кроме нескольких его сослуживцев, об его качествах не знает. Но посредственность актера, художника, писателя – вся наружу. Она кричит. Это все равно, как мужчине повесить на шею доску с надписью: "Я импотент". И отсюда вечный запой у людей искусства, богема, беспорядочная жизнь. Неумеренное хвастовство. Все попытки заглушить свою слабость. А у Вадима, мягкого и совестливого, самоубийство. Удаются Максимову эти страницы. Мягко, ненавязчиво, без натуралистических подробностей. "Ах, как они легко, без сопротивления поддались эти чудо-клавиши газового божества! Вадим лег на тахту, положил руки под голову и блаженно опустил веки. Падение было не стремительным, а почти парящим. Сначала он почувствовал легкий запах, может быть, чуть приторный, затем восхитительное головокружение, словно в детстве в Сокольниках на карусели, и, наконец, блаженное забытье, как во хмелю, только гораздо полнее и удивительнее" (стр. 278-279). Потом пробуждение в больнице. Психическое расстройство. "Столбы". И больничные встречи. В больнице психиатрической, на Столбах, я однажды провел четыре часа. Вместе с Зинаидой Михайловной Григоренко. В 1973 году мы навещали генерала. Это были октябрьские праздники. Больные, спокойные, давали празднич-

ный концерт. И так мне понравилась атмосфера среди больных, что не хотелось уезжать. Общее горе соединило людей, смягчило их характеры – и все они были немного жалкие, но добрые, хорошие, симпатичные. Правда, это уже выздоравливающие, готовящиеся к выписке, и больница, где лежал Григоренко, к которому возили корреспондентов. Но и Вадим в этой самой больнице, где нет буйных (по советской смягчающей терминологии – "беспокойных"). И здесь много хороших людей. Старые знакомые. Во-первых, бродяга Митяй. Сейчас появился новый тип бродяги. "Советский бродяга", если так можно выразиться. Рабочий-сезонник. Ездит всю жизнь по шарашкам. Там подработает, здесь подработает. И все пропивает. Семьи у него нет: всех в своих странствиях растерял. И другой сосед. "Когда Телегин ушел, молчавший до сих пор и занятый делом сосед оторвался от своей тетрадки, сунул ее под подушку и, вставая, протянул Вадиму сухую волосатую руку. "Марк Крепс. Режиссер. Пошли обедать". Высказанное соседом с такой веселой краткостью дружелюбие мгновенно обезоружило Вадима, привязав его к новому знакомцу ответным доверием и приязнью. "Чудак, вроде, но славный, светится весь" (стр. 239).

* * *

Марк Крепс – один из самых интересных персонажей, застрявших в психиатрической больнице. Он читает в больничной уборной Вадиму монологи Гамлета. Он болен Гамлетом. Он – Гамлет. Я тоже

с детства болен Гамлетом. И для меня мир раскрывается в одной фразе "комплекс Гамлета". Я об этом говорил всем и каждому в институте, в студенческие годы, об этом я писал недавно, в III томе моих воспоминаний "В поисках Нового града". И одна высокоученая дама – Наталья Горбаневская – за это на меня нарычала: "Мол, к тому морю, что написано о Шекспире, Ваши литературные экзерсисы на школьном уровне не прибавляют ровно ничего". А мне наплевать – прибавляет или не прибавляет. Что из того? Когда все в мире делают Гамлеты. И только Гамлеты – люди, остро чувствующие неправду, страдающие от неправды, гибнущие в борьбе со злом. И таков Марк Крепс. В нем все противоречиво, начиная от его происхождения: наполовину немец, наполовину грузин. А его в детстве считали евреем. Потом – Суворовское училище. Офицер. Был в Будапеште. Подавлял Венгерское восстание. Потом стал режиссером. И крах. Такой же, как у Вадима. И вот в психиатрической больнице. Ему грозит Казанская психиатрическая больница. Это уже навек. Гибель. На пороге гибели он в уборной читает монологи Гамлета. "Легким взмахом руки он перекинул халат через плечо и замер посреди курилки: "Один. Наконец-то". И случилось чудо. Перед Вадимом на цементном полу больничной уборной погибал, плача от гнева и жалости, истинный сын своего века в затасканном халате из дешевой байки. И не принц датский шепотом вопрошал у темноты за окном: "Быть или не быть?" И не наследник королевского престола, устало опершись о косяк обшарпанной двери, взывал к миру, но более всего к себе:

”Достойно ли?” Это заживо хоронил себя сосед Вадима по койке, по стране, земному шару. Но вот он, словно сдаваясь на милость победителя, поднимал у самого уровня плеч руки и так – ладони вперед – двигался к нему из глуби уборной. ”Вот два изображения: вот и вот”. И волшебство сопереживания начинало колотить Вадима мелкой дрожью. А когда принц, почти обуглившийся от сострадания, раненно простонал, сползая к ногам матери-отравительницы: ”Из жалости я должен быть суровым”, Вадим, сглатывая судорожные спазмы, только и мог мысленно заключить: ”Черт бы тебя побрал, Крепс”. Начиная с ”Прости тебя, Господи”, где Гамлет уже чувствует приближение скорого конца, Крепс провел всю сцену до финала, держась за воображаемые настенные мечи. Так он и умер настенной птицей – между дверью и ближайшим к выходу унитазом” (стр. 313-314). Необыкновенный взлет. Прозрение. Все мы Гамлеты. Люди, которые не миримся с неправдой. В разладе с миром. С пошлостью и грязью. Между властью золота и властью крови. ”Распятой птицей между дверью и ближайшим к выходу унитазом”. И что мы можем? Можем лишь сказать: ”Гораций, я кончаюсь. Сила яда глушит меня. Уже меня в живых из Англии известья не застанут. Предсказываю: выбор их падет на Фортинбраса. За него мой голос. Скажи ему, как все произошло. И кончилось. Дальнейшее – молчание”. (Вильям Шекспир, ”Гамлет, принц Датский”, акт пятый, сцена вторая, первод Б.Л. Пастернака). И мы можем лишь призывать Фортинбрасов, людей будущего, которые принесут новую революцию и, быть может, со

снисходительной улыбкой помянут нас. Этих Гамлетов много. И не все они гибнут. Марк Крепс – Гамлет. И Вадим – Гамлет. И встретил он Гамлета еще в самом неожиданном месте. В Управлении по делам искусства. В Москве. Вилков. Заведующий отделом эстрады. Бывший генерал. Коммунист. Разговор с Вадимом. Вадим ошарашил начальника. Оказалось, он пришел не просить нового места и новых льгот, а другое – заявить, что хочет переменить профессию, потому что актерское дело не для него. Под впечатлением этого странного желания начальник рассказал, как был он генералом, потом попал в лагерь, как вышел оттуда с разбитой жизнью – жена уже замужем, друзей нет, – поступил на работу грузчиком. (Знаем, знаем мы такого генерала, хотя жена его и не такая, осталась верной ему до конца, а в остальном – ничего не выдумано). Но потом разыскали, восстановили ему партстаж, и вот он на старости лет возится с актерами (лучше, чем ничего). Чем не Гамлет? Крепс, будучи в психиатрической больнице, сошелся со священником, стал верующим. И немного смотрит теперь сверху вниз на людей. "Ни я, ни тем более Егор Николаевич не писали подпольных протестов, не демонстрировали на Красной площади, не пытались решать больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас. Нас, а не титулованных либеральных борцов, состоящих на жалованьи у государства. А ведь мы лишь несем Свет и Слово Божие. Мы для них страшнее. Во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных лириков" (стр. 319). Так ты го-

ворил 10-15 лет назад. А теперь что ты скажешь, Марк? Вот тебе и титулованные борцы – один в Нижнем, на привязи, – и чуть его не довели до голодной смерти, другой в лагерях, не выходит из карцера, третий после семилетнего заключения в лагере, в далекой ссылке, и сын у него в тюрьме и невестка в лагере. И если у тебя надежда выйти из психички в Казани, так только если фрондирующие физики и полуподпольные лирики поднимут кампанию в твою защиту. Зря тебе священник, твой метр, не показал в Священном посании следующих слов: "Дары различны, но Дух один и тот же, искушения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех... Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело – так и Христос" (Послание Коринфянам 12, 4–6,12). И все мы – одно тело, кто делаем дело Божие: и физики, и либералы, и революционеры, и священники. А ты этого не понял, Марк. А еще актер и режиссер. Эх ты, Марк!

Образ священника, намеченный лишь пунктиром, заставляет живо вспомнить сердечных, добрых благочестивых пастырей, таких как отец Дмитрий Дудко, отец Сергий Желудков, отец Глеб Якунин и другие.

* * *

И вновь появляется дед. Отдаленное воспоминание Вадима. Детское воспоминание. "Сам дед Петр, в новой сатиновой косоворотке со щегольски

отстегнутым воротом, сидел во главе стола и с горделивым довольствием оглядывал свой клан, во главе которого особо выделялся осанкой и статью первенец его Виктор" (стр. 322). Когда это было? Вадиму сейчас (в 1965 году) 35 лет, тогда ему было года 3-4. Значит, речь идет о 1933-34 годах. Как это ни странно, хорошие это были годы. Относительно хорошие. В материальном отношении. Годы колхозного разорения прошли, а ежовщина еще не начиналась. Рабочие еще имели приличные заработки. Продуктовые карточки в конце 1934-го были отменены. Группа не убитого еще Кирова стремилась создать советское "просперити". Этим объясняется столь благодушное настроение рабочей семьи, и даже Виктор (оппозиционер) признает: "Но рабочий уже наелся, даже, как видите, – тыльной стороной ладони он поддел и небрежно подкинул вверх конец своего галстука, – бантик прицепил к шелковой рубашке" (стр. 322). В это время газеты писали о победе колхозного строя, звуковые кинофильмы (только что появившиеся), типа "Веселых ребят", "Цирка", стремились возбудить оптимизм, жизнерадостность, гордость страной. Именно в это время появляется насквозь фальшивая фраза "вождя и учителя": "Жить стало лучше, жить стало веселей". И дураков, обывателей и просто наивных, хотя и неглупых людей, удается на короткое время обмануть. Но, к счастью, не все дураки. Более проницательные знают, что "советское просперити" чисто внешнее, декорация, потемкинская деревня. А за ним нужда, бесправие, самовластие. И здравомыслящий сильный голос вторгается в эту атмосферу ме-

щанского уюта, показного благополучия, наигранного казенного патриотизма. Столкновение Виктора сначала с деверем – интендантом-офицером – а потом и с отцом. Суровое слово отца: "Что же, спасибо на этом, Витек. Откровенность твою ценю и уважаю. Тем же рублем и ты получай. Хоть и сын ты мне единокровный, но помни: не дрогнет у меня рука, коль надобность для партии в том будет. А теперь собирай-ка ты свои монатки и вот тебе порог..." (стр. 323). И переполох. Жена Виктора обращается к свекру с суровым словом. Семья Виктора двигается к выходу. И вдруг в эту ожесточенную атмосферу врывается нечто новое: материнская любовь. "Никто бы так и не заметил в общей суматохе бессловесно жавшуюся к печи бабку, если бы как раз в тот момент, когда отец подхватил Вадима на руки и, сопровождаемый женой, двинулся к выходу, не выступила вперед и не опустилась перед ним на колени: "Витенька... Прости ты их всех ради Господа, нашего Спасителя..." (стр. 325). Перед материнской любовью сошло на нет ожесточение, и Виктор бережно берет ее на руки и относит в соседнюю комнату, накрывает ее своим пиджаком и остается в отчем доме. И лишь старик остается в этот момент таким же, строгим, неумолимым, твердокаменным большевиком. Тогда оставался. А теперь, через много лет, он приезжает к внуку в больницу, к сыну Виктора, погибшего в лагерях. "Внешне дед оставался тем же властным, жестким, уверенным в своей правоте стариком. Но от глаз Вадима не могло укрыться и то, как подрагивают его ослабевшие кулаки, и то, как временами срывается, словно на выбои-

нах, когда-то чистого металла басок, и то, наконец, как не свойственная ему раньше усталость сквозит во всяком движении и слове старика. И сердце Вадима переполнилось любовью и жалостью к этому самому близкому для него на земле человеку. – Да ты не беспокой себя понапрасну, – у него сорвалось дыхание, – не век же меня здесь держать будут. – Век не век, – тот впервые взглянул на него прямо и настороженно, – а скоро не отпустят. – Думаешь? – Знаю. – Дед не умел говорить лишнего. И Вадим понял, что дела его обстоят хуже, чем он предполагал" (стр. 326). Так, в кипении жизни, как в огромном котле, отходит все искусственное, надуманное: партийные, классовые интересы. Остается настоящее: любовь, родственная, отеческая, сыновья, мужская и женская, смерть. Прежде всего открывается в больнице Вадиму смерть. Смерть Митяя Телегина. Рабочего. Сезонника. Бродяги. Смерть, напоминающая смерть дерева, как у Толстого в рассказе "Три смерти". Хотя и много страдал, хотя и близок к смерти, но много жизненной силы, но не утратил способности любить и быть любимым – и уже на пороге смерти любовь. У простой женщины, тети Падлы, пробуждается к нему любовь. И другая смерть. В воспоминаниях Вадима. Смерть охотника Каспара Силиса – промысловика Каспара Силиса, стоическая смерть, смерть мучительная, но красивая, не исковеркавшая, не сломавшая человека. И невольно вспоминаются здесь слова Лессинга по поводу трагедии Софокла "Филоктет": "Мы сострадаем герою и в то же время восхищаемся тому, что можно страдать, как страдает он". И самоубий-

ство врача, поставленного режимом на колени, принужденного принимать участие в его подлостях и самому делать подлости, но в котором не заснула совесть. И наконец, последние страницы очерка ”Четверг”. Любовь и свобода. Свобода и любовь. Полюбил Вадим Наташу. Дочь священника. С ее помощью — побег из больницы. Вместе с нею день — совместно проведенный день. Ночлег у нее в квартире, в Москве, в Кривоколенном переулке. Она сопровождает его в деревню, к деду и бабке. Выехали из города. Природа. Надо на пароме пересечь реку. Она пересекает первой. Кивает ему и машет. Через пятнадцать минут и он вслед за ней, на пароме. Через пятнадцать минут — любовь, счастье. свобода. И вдруг, вдруг хватает за руку его, беглеца, погоня. И его заталкивают в вонючую карету, и последнее, что он слышит, хулиганская, похабная частушка. ”По реке плывет топор, Из села Неверова. И куда тебя несет, Железяка херова” (стр. 359). Нигде так ярко не выражена, как здесь, пошлость советского режима: психушки, грубость, жестокость, грязь.

ПО РЕКЕ ПЛЫВЕТ ТОПОР. ПЯТНИЦА. ЛАБИРИНТ

И в этой частушке — символ. Символ не только хамства и пошлости. Но и нечто более глубокое. Жизнь. Река жизни. ”По реке плывет топор”. По реке жизни. Последняя мысль Вадима, когда его заталкивают в фургон: ”До свидания, Натали! Живи, родимая! Надо жить”. Река жизни развертывается перед нами в главе ”Пятница. Лабиринт”. Вадим,

хоть и не ахти какой, а интеллигент. И Крепс интеллигент настоящий. А потом опять. Как с горы. Рабочее общежитие. Сезонники. Омут. И там старые знакомые. Антонина Лашкова. Хорошая. Кроткая. Богомольная. До сорока дожила старой девой. А теперь с Николаем. Переменили много мест. И прибила их жизнь в этот рабочий поселок. В Среднюю Азию. Атмосфера здесь напоминает сезонников из "Саги о Савве". Сначала единая серая масса, но потом начинаешь различать. Яркие, броские типы. Раскрывается потаенное, тщательно закамуфлированное. Проституция, которая под покровом официальной благопристойности существует в советском обществе. Здесь, как и во всем, еще лицемернее, еще утонченнее, а потому еще гаже. История Альберта Гурьяныча, который рассказывает, как в Москве, будучи таксером, он работал "на паях" с проституткой. "Сажаю раз девушку... Светленькая такая. Смазливая... В штанах, лет от силы восемнадцать. Едем к трем вокзалам... Вдруг она мне и говорит: "Парень, – говорит, – хочешь, – говорит, – копейку хорошую иметь?" А я ей: "Смотря откуда, – говорю, – если от уголовщины, – говорю, – то гуляй в другое место". "Что ты, –говорит, – дело чистое. Клиента я сама найду, а ты, – говорит, – только линять будешь на это время". Так работали они совместно. Она из Коломны. Хотела стать актрисой. Приехала поступать в Театральный. Провалилась на экзаменах. Возвращаться в Коломну – с поникшей головой – самолюбие не позволяет. И пошла по рукам. Потом между ними любовь. Влюбился в нее шофер без памяти. Поженились. Ждали ребенка. А

потом она от него сбежала, оставив записку, что решила сделать аборт. И снова попытаться попробовать себя в искусстве. Что это? Ложь, клевета на советскую действительность? Увы, не ложь и не клевета.

Знал я одну интересную девушку, которая вышла замуж перед войной за обновленческого священника, за злополучного сына митрополита Александра Введенского. Андрея – человека дегенеративного и душевнобольного, впоследствии погибшего в лагерях, при попытке к бегству. Имела от него сына. Потом Андрей после войны исчез в лагерях, сына она отдала в детдом. И вот как-то в 1949 году встречаю ее в ресторане гостиницы "Москва" под руку с узбеком, режиссером из Ташкента, немного мне знакомым. Подходит ко мне, говорит: "Знакомьтесь, это мой муж". Занимаем столик. Спрашиваю режиссера: "Ну как здесь время проводите?" Он: "Вот Алла Алексеевна помогает". Когда она от нас отошла на миг, спрашиваю: "Позвольте, у Вас ведь была в Ташкенте семья? – Как же, жена и двое детей. – А Алла Алексеевна? Действительно ваша жена? – Ну что Вы? Три дня назад познакомились здесь в ресторане". Через год ее арестовали за проституцию. Дали три года. Сын прямо из детдома пошел по уголовной линии, профессиональный воришка – лагеря, тюрьмы, шатание по Москве. И другой эпизод. Лет десять назад захожу на Курском вокзале в ресторан поужинать. Подходит ко мне официантка говорит: "Сядьте за мой столик, я хочу Вас обслужить". Перехожу за ее столик. За столиком девушка, очаровательная, милая, с умным хорошим

лицом, со вздернутым носиком. Перед ней батарея бутылок. Обращается ко мне: "Поправьте галстук". Поправляет. Она вдруг похабную фразу: "Чтоб у Вас кончик не болтался". Я: "Что Вы здесь делаете, детка?" – Вас ожидаю. Я: "Так ведь я старик". Она: "Я люблю стариков". Я: "Стариков или их деньги?" У нее вдруг на глазах слезы. Я: "Муж у Вас есть?" Она: "Такой же старый черт, как Вы". И дальше: "Хотите, расскажу анекдот? Гуляла курочка. Вдруг за ней погнался старый петух. Он за ней, она от него. У обоих кровь и разгорелась". Я: "Голубушка, зачем Вы это? Ведь столько есть хороших парней, которые на Вас женятся. Бросьте". Она: "Лопайте скорей и уходите!" Когда я вышел из-за стола, за мной бросилась официантка, смущенно залепетала: "Я не знаю. А она мне сказала, что у нее сегодня день рождения". Я: "Все понятно. Работаете на паях". Все это есть и здесь, на Западе: и в Париже, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Но здесь по крайней мере никто не отрицает, что это есть. С этим борются. А попробуй заикнуться о чем-нибудь подобном в Советском Союзе. Тебя сразу обвинят в клевете, во лжи, в антисоветской агитации, посадят под замок. А сколько таких развороченных жизней, потерянных девушек, сколько от них дегенератов, хулиганов, воришек.

В этой же главе потрясающая картина. История Муси, профессиональной проститутки, буфетчицы; которая оказывается хорошей, доброй женщиной, которая ищет настоящей любви, но которая исковеркана жизнью и не может выбраться из омута, куда ее толкнула подлая советская жизнь: пьяный отец, лагеря, работа в буфете, куда можно по-

пасть лишь по блату, став всеобщей подстилкой. И всю эту грязь раскрыл Максимов. Быть может, впервые в советской литературе. Спасибо тебе за это, Владимир Максимов.

И проблема антисемитизма. Я знал одного человека, который считал антисемитом... Максимова. Ну, знаете. В одной из своих книг я цитирую Лескова, который говорил, что для того, чтобы убить антисемитизм, надо, чтобы какой-нибудь писатель показал простого, хорошего еврея. Если уж кто это сделал, так это Максимов. Выше мы говорили о Зяме, хорошем еврейском парне, который пал жертвой подлеца-подрядчика, а здесь в главе "Пятница" другой еврей Осип Меклер. Мы с ним познакомились в главе "Среда" – в Москве, в коммунальной квартире. Правда, знакомство было шапочное: это сынок дантиста, с уплотнения которого начинается глава "Двор среди неба". Отец из него хотел сделать также зубного врача. А он не захотел. Бежал из Москвы. Стал сезонником, сначала рабочим, теперь прорабом. Здесь перевернуты все столы и стулья, все обычные понятия. Обычное представление: еврей не выносит физического труда. Бежит от него, как черт от ладана. Здесь все наоборот. Еврейский парень, окончивший школу с золотой медалью, которому, следовательно, открыт любой институт (и без экзаменов) идет на физическую работу. Как известно, евреи часто стремятся в большие города – в Питер, в Москву. Старые москвичи в 20-е годы жаловались на еврейское наводнение. Здесь, наоборот, московский еврей порывает с Москвой, едет к черту на кулички, в дикую глушь. Еврей, согласно ходячему

представлению, любит деньги. Здесь, наоборот, перед нами еврей-идеалист, еврей-бессеребренник, наконец, согласно ходячему представлению, еврей – ловкач, жулик. Здесь, наоборот, обставляют и обжуливают еврея. Где правда? У Максимова или в жизни? И там и здесь. Когда-то Ренан говорил, что из евреев вышли лучшие и худшие люди: Христос и Иуда. В этом сходство еврейского народа с русским. Оба эти народа любят крайности. Как правило, у евреев и у русских нет середины. Каково отношение к Осипу Меклеру среди русских рабочих? Его любят. И его смерть была жестоко отомщена. Это правда. Антисемитизм, присущий полякам и украинцам, как правило, совершенно не свойствен простому русскому человеку. Недаром в старое время, несмотря на все старания, несмотря на поддержку полиции, на подстрекательство черносотенцев, ни в одном русском городе (в Великороссии) так и не удалось огранизовать ни одного еврейского погрома (не то, что на Украине, в Молдавии, в Польше). Я помню фразу одного моего друга еврея, сказанную в разгар официального советского антисемитизма в 60-х годах: "Я удивляюсь благородству русского народа: несмотря на такое натравливание, нигде ни одного инцидента". Действительно, антисемитский инцидент (поджог синагоги) был только один раз: весной 1960 года в Малаховке, под Москвой. И то это было делом рук шпаны, деклассированных пьянчужек. В главе "Пятница" есть два разговора, где поднимается еврейская проблема. Разговор Осипа с бывшим эмигрантом, белогвардейским офицером: он упрекает евреев за то, что они сделали

Октябрьскую революцию и проявили во время гражданской войны жестокость. Очень характерно, что это говорит бывший белогвардеец. В России никому в голову не приходит обвинять евреев в том, что они сделали Октябрьскую революцию. Почему? Во-первых, потому, что факты уж очень противоречат этому утверждению. Конечно, среди коммунистов было много евреев (правда, сравнительно с латышами, поляками и особенно русскими — ничтожный процент). Ну а как быть с Фаней Каплан, стрелявшей в Ленина? Что, она также делала Октябрьскую революцию? Или с Иудой Штерном, стрелявшим в 1931 году в германского поверенного в делах, чтобы выразить протест против экономической поддержки, которую оказывало тогда германское правительство советскому? А как быть с лидерами меньшевиков и эсеров: с Мартовым, Аксельродом, с Даном и Абрамовичем, с Гоцем и Либером? Большевистские журналисты придумали даже особую кличку для своих противников: "Гоцлибердан". Как, наконец, быть с еврейскими капиталистами Бродским, Высоцким и другими, финансировавшими белое движение? Нет, господа, Октябрьскую революцию делал русский народ и он же решил исход гражданской войны. И как вы ни вертитесь, от этого не уйти. И ничего странного в этом нет. Или Степан Разин, Пугачев, Андрей Желябов и Софья Перовская тоже, по-вашему, были евреями? Русский народ — народ долготерпивый, но и непокорный. Русский народ — народ-мечтатель, искатель, но если им овладевает большая идея, мечта, то иногда жестокий народ. "Не приведи Бог видеть рус-

ский бунт, бессмысленный и беспощадный!" – писал Пушкин. Насчет беспощадности правильно, а насчет бессмысленности вряд ли... не нужно доводить до этого русский народ. Старая поговорка: "Кто сеет ветер, пожнет бурю". И еще один момент: говорить о том, что евреи сделали в России революцию – глубочайшее оскорбление для русского народа: как можно великий народ представлять в виде простофили-дурачка, которого кучка евреев водит за нос. Так могут говорить только люди, глубоко чуждые, оторвавшиеся от своего народа. Все дело в другом; люди боятся сказать правду: несмотря на героические усилия, несмотря на беззаветную храбрость и выдающиеся способности многих вождей белого движения, они были выбиты из седла. Кем? Своим родным русским народом.

И еще один разговор: со старичком евреем Израилем Самуиловичем: "А Тоня! Заходи, заходи... Знакомься, это Израиль Самуилович. А это – Тоня, я Вам говорил о ней... Продолжайте, Израиль Самуилович. Тоня нам не помешает. – Старичок смягчился, одобрительно покивал ей острым подбородочком и снова заговорил яростным фальцетом: "Это дети! Они не понимают, что творят. Хорошо, им разрешат выехать, но что будет с остальными? Газеты поднимут крик: евреям не дорога родина. И мы будем иметь погромы" (стр. 402). Все получилось как раз наоборот. С самого начала, с момента образования Израиля, в простом русском народе (и даже среди власовцев, бывших эсесовцев) наблюдалось необыкновенное сочувствие к Израилю. Уважение к евреям с тех пор проникло в самые глубокие

слои русского народа. Во всяком случае отпал главный аргумент черносотенцев: обвинение евреев в трусости. Сначала просто недоумевали: "А может быть, там дерутся не евреи? Кто-нибудь другой?" — спрашивал у меня один мой приятель, очень не любивший евреев. Но когда не верить стало нельзя, евреев стали уважать. А по поводу тех, кто не хотел ехать, тоже очень определенное мнение. Когда в 1972 году советские газеты опубликовали резолюцию советских граждан еврейской национальности, проживающих в Москве (Дымшица, Ботвинника и других), осуждающих Израиль — я в это время был в лагере, в Сычевке, среди русских парней-бытовиков, — я помню, как ребята говорили: "Почему они не хотят туда ехать? Почему? Зачем им тут околачиваться? Подлые трусы". И если уж кого не любят в России, так арабов, "черно...". Уж этих так не любят. И еще как! И им вечны тыкают в нос: "Мало вас жиды били!"

В Осипе есть нечто необыкновенно обаятельное, привлекающее к себе. Он интеллигентный, и в то же время хорошо знающий жизнь. Еще пацаном вечно из дома бегал. И прошел тогда еще огонь и воду и медные трубы. Народник до глубины души. И кристально честный. Из таких выходили революционеры: и Гершуни, и братья Гоцы, и Мартов, о котором его главный политический противник Ленин не мог не сказать: "Какой чистый человек, какой хороший товарищ!" Таким был и Осип, и окончил самоубийством, потому что не мог вынести грязи, пошлости, грубости. И русские люди глубоко пережили его смерть, и русский человек из народа Вла-

димир Максимов посвятил его памяти теплые строки. Как не поблагодарить его за это.

И опять вспышка народного гнева. Николай, русский парень, избил до полусмерти виновника Осиной смерти, жулика-прораба. Колоритная сцена. "Прораб всем корпусом потянулся к собеседнику, вглядываясь в него по-собачьи заискивающим взглядом, но когда глаза их сошлись, наконец, глаза в глаза, произошло то, чего Антонина меньше всего ожидала: рука Николая мертвой хваткой вцепилась в расстегнутый ворот гостя: "не знал, говоришь? – выцеживая слова, Николай безмятежно улыбался, но от этой улыбки Антонине вдруг сделалось жутко. – Черт их принес, говоришь? – Коля, – хрипел тот, – я ж к тебе как к сыну. – Как к сыну, говоришь. Вот я тебя, папаша, и спрашиваю: если не знал, зачем тогда на мою половину привел? Или, может, случайно перепутал? Или насильно заставили? – Нехорошо, Коля, – задыхался Карасик, – я к тебе как к человеку... – Не отпуская его ворота, Николай вышел из-за стола, поднял гостя, поставил его на ноги и свободной рукой наотмашь смазал ему по скуле, а затем уже бил, не останавливаясь. "Человек, говоришь? Вот тебе, сучье мясо, за старое... За новое и за три года вперед... Папаша отыскался! Получи от сыночка. Схвати от родимого". С мстительным удовлетворением следила Антонина, как лицо прораба превращается в кровавую массу... Теперь Антонина не кричала. Сама не помня себя, она лишь складывала пересохшими от гнева губами: "Еще... Еще... Еще..." И хотя Антонина сознавала тяжкую греховность своего исступления, она в сладостном

самоотречении брала его — этот грех — на душу. Ей казалось сейчас, что отнято у нее слишком невосполнимое, чтобы не быть отомщенным. И за это она была готова принять любую, самую тяжкую кару. Только бы виновник случившегося получил сполна" (стр. 421- 424). Карасик выдержал побои, отлежался, по-прежнему колобродит. А Николая за эту потеху — в лагеря. Антонина же родила сына. В последней главе приводит она его к деду. Вырастет и доведет дело Николая до конца. Сейчас (в 1982 г.) ему, верно, семнадцать. А когда ему будет под сорок, пойдет бить Карасиков. И добьет их. И освободит Землю Русскую для подлинного братства, для счастья, для того, что хорошие люди исстари называли хорошим словом "общинность" — по-заморски "социализм".

* * *

— И это пишет христианин? — Да, христианин. Много лет назад, еще в лагере под Куйбышевым, когда отбывал первый срок, в 1955, прочел я рассказ впоследствии отошедшего, а тогда своего в доску для советской власти американца Говарда Фаста "Христос из Небраски". Начало рассказа. Едут литератор с женой в одном из американских штатов в Небраску и встречают индейца, спокойного и величественного, который едет верхом на осле с мальчиком в город Небраска. И невольная ассоциация: Христос. Они едут к знакомому врачу. Очень доброму, очень человечному, очень "левому". И видят, что индеец также подъезжает к дому врача. А потом

из разговора с врачом выясняется, что индеец привез сына, тяжело больного сына, и требуется немедленно сделать ему операцию. А на другой день врач сообщает гостям печальную новость: "Мальчика спасти не удалось – он умер под ножом хирурга". Когда гости уезжают из города, попадается им навстречу вновь индеец на осле. Теперь уже один, без мальчика на руках. Теперь лицо его было исполнено гнева, горечи, скорби. "Теперь он не был похож на Христа, – заканчивает свой рассказ Говард Фаст, – но, может быть, такое лицо было у человека, которого называли Иисусом Христом". Представим себе Николая в минуту гнева, когда бьет он мерзавца и обманщика Карасика. Лицо, гневное и скорбное, полное желания отомстить за друга, за несправедливость, за ложь, за подлость, за издевательство над беззащитными, беспомощными людьми.

И открываем старинную книгу: молодой Плотник из маленького еврейского городка пришел в Иерусалим... "и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И сделал бич из веревок (а веревки очень больно хлещут, – бичом из веревок можно превратить лицо в кровавое месиво), выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, и столы их опрокинул" (Ио. 2, 14, 15). Какое у Него было в это время лицо? Это попытался изобразить Рембрандт в картине, которая имеется в его музее в Антверпене. Еврейское лицо, разгоряченное яростью, гневом, ревностью о Боге. "Ревность о доме Твоем снедает меня". И когда вспоминаешь страшную улыбку Николая, когда он хлещет Карасика,

улыбку, преображающую его лицо гневом и яростью, невольно спрашиваешь: "Не такое ли лицо было у Человека, которого называли Иисусом Христом?" Именно такое, а не исполненное безмятежного спокойствия лицо самозванного религиозного учителя Гупака.

И на этом мы закрываем книгу "Семь дней творения", которую написал русский писатель Владимир Максимов.

И ПРОЧЕЕ

Мы внимательно прочли произведения Максимова, написанные в России. И вот перед нами повесть "Карантин". Какая-то кунсткамера. Целый поезд. И все одни распутники, пьянчужки, потаскушки. Экскурсы в старину. Ни к селу, ни к городу. Очень наивная стилизация.

Когда-то в юности я был знаком с одной дамой, очень ядовитой на язык дамой. Однажды она мне сказала: "Вы все время из себя что-то делаете. Зачем это? Надо естественнее и проще". Хочется так сказать Максимову: "Все это искусственно. Все это сделано". То он хочет из себя делать Достоевского, то Гофмана, то Стефана Цвейга, то еще черт знает кого. Зачем это? Надо естественнее и проще.

"Скажите, ребе, построить социализм в одной отдельно взятой стране возможно? – спрашивает еврей у раввина в 1927 году. – Построить социализм в одной отдельно взятой стране возможно, – отвечает старик, – но жить в этой стране невозмож-

но". Нарисовать причудливую мозаику каких-то гнусных рож, конечно, возможно, но читать "Карантин" невозможно. Я, во всяком случае, не могу. Кто-нибудь, может быть, другого мнения. "На вкус и цвет товарищей нет".

НЕЗВАНЫЕ В КОВЧЕГЕ

И вот опять роман.

Настоящий роман.

На прежнем уровне.

Читал отрывки в газете "Новое Русское Слово". И муторно становилось.

Сталин. Лубочная карикатура. Патриарх Алексий. Сплошная "развесистая клюква".

С неохотой взялся за книгу. И что за притча! Читал запоем. Не отрываясь.

И вспомнилось... Что вспомнилось? Храм Святого Петра. Когда проходишь порталом, разглядываешь статуи, многое коробит, неприятно. А в целом нечто грандиозное. Все дефекты тонут в грандиозности замысла.

Владимир Максимов, не возгордитесь! Вы не собор Святого Петра. Далеко не собор. Но есть в Вас мужицкая кряжистость, крепость. И в ней тонут Ваши дефекты и недостатки.

Начинается роман прологом в небесах. Гете? Нет, не то.

Беседа Бога с Единородным Сыном. Он спасет. Он любит. Он хочет опять придти.

И говорят они языком мужицким, полублатным. И так во всем.

Владимир Сергеевич Соловьев очень тонко отметил, что для Льва Николаевича Толстого всемирно историческая личность Наполеона раскрывается там, где он напоминает русского барина (сцена с умыванием). Ну, а для Максимова-Самсонова всюду и везде деклассированный русский мужичок, мужичок советского времени. Полублатной.

Интересно он рассказывает о деревне Сычевка (Тульской области). "Народ бежал от земли, как от мора, стихийной беды, Божьего наказания. Земля сделалась обузой для человека, его несчастьем и проклятьем. Земля только обязывала, не давая взамен ничего, кроме забот, налогов и каждодневного страха. Человек тяготился ею и скучал" (В. Максимов. "Собрание сочинений", том VI, стр. 8-9).

Максимов смотрит в корень. Самое ужасное — это оскудение деревни, бегство крестьян в город.

Первым делом будущей русской революции — четвертой революции — должна быть реконкиста — возвращение крестьянина к земле. Возможно ли это?

Всякий из нас, помнящий двадцатые годы, скажет: "Возможно, стоит лишь вспомнить сытую, веселую, пытливую деревню двадцатых годов. Деревню, освобожденную от помещика и еще не испытавшую колхозного ярма".

Но пока из деревни бегут.

И Самохины. Крестьянская семья. Едут на Курилы. В числе многих. Инициатива Федора — военного парня, вернувшегося с войны. И едет со стариками родителями и с восьмидесятилетней бабкой. Едут к черту на рога. На Курилы. В числе многих. И в

этом приговор колхозному строю. От хорошей жизни не побежишь.

Прощание с родной деревней. Яркая страница. Горечь и проблеск надежды. Здесь Максимов достигает почти символической силы.

"Всю жизнь, сколько Федор помнит себя, он рвался отсюда, куда глаза глядят, лишь бы прочь от этой Тмутаракани, от этой кричащей скудости и беспробудного, матерного пьянства. Именно поэтому бросил когда-то школу и ушел в ремесленное училище, почти добровольно подался на фронт, но куда бы ни забрасывала его судьба, он неизменно возвращался туда, к этому щемящему в своей зябкости простору, к запахам прелой соломы и навоза, к печному дыму по утрам.

Долгими ночами на чужбине снились ему косьба над желтой водой сычевской речонки, скромные посиделки за околицей, бесконечные зимние вечера на теплой печи. И просыпаясь среди тьмы, он исходил одновременно горьким и сладостным томлением" (там же, стр. 10).

Вот она, деревенская реконкиста, вот он русский мужичок — надежда и будущее России.

Максимов тонко чувствует сельскую природу. Она к нему оборачивается не пейзажем, а тяжелой, муторной стихией.

"Их провожала слякотная весна, все в ней теряло сколько-нибудь четкие очертания, все тонуло в подернутой хрупким ледком промозглости, и оттого расставанье было особенно муторным. В этой моросящей слякоти даже телега казалась лишь

лодкой, плывущей в саму неизвестность" (там же, стр. 11).

* * *

Мне вспомнились давние года. Марьина Роща. Я – учитель. Объясняю "На дне" Горького. О Сатине. Он – человек пропащий, босяк. Но в какой-то момент под влиянием вина он оттаивает и в одном из монологов формулирует принцип социалистического романтизма: "Человек – это звучит гордо".

Отзвук моей тирады в одном из сочинений:

"Сатин – босяк, мерзавец, но когда он напьется, начинает выражать идеи социалистического гуманизма".

Это очень смешно и глупо, но действительно русский человек иной раз по пьянке выражает то, что в глубине души. И не только плохое, но подчас и хорошее.

Вот и Федор, приехав в Узловск, маленький районный городишко, по-русски напился. Идет по городу.

"Морозная ночь ранней весны несколько протрезвила Федора. Он медленно ступал безмолвным, почти без огоньков городом, и душа его, постепенно стряхивая хмель, начинала обретать сознание, а с ним и окружающий мир. Он вдруг почувствовал потаенную теплоту домов за заборами, ощутил звонкий хруст ледка под сапогами, увидел звездное небо над собою: земля показалась ему огромным, плывущим сквозь ночь кораблем куда-то к еще неведомым ей самой берегам. И в него хлынул неведо-

мый дотоле восторг. "Господи, братцы, нам бы только жить, да жить в такой красоте, а мы все одно дело – глотки друг дружке дерем!"

И заключается глава мистическими словами автора, которые как нельзя лучше гармонируют с мыслями Федора:

"И была ночь, и был Человек в ней, и был с Ними Тот, Кто берег их для своего Дня" (там же, стр. 13).

И это очень по-крестьянски, очень по-русски. Русский мужик никогда не представляет Бога абстрактно, в духе немецкой классической философии. Бог для него всегда нечто реальное, конкретное. Тот, кто здесь рядом, около. Во мне.

"Вселися в ны и обожи – медвежья умная молитва", – восклицает русский мужичок Николай Клюев. И этими словами хочется передать мироощущение другого русского мужичка В. Максимова.

* * *

И началось странствие. Странствие по России. Остановка в Москве. Посещение солдатской вдовы, муж которой (односельчанин Федора) был убит на его глазах.

Появление Павла Ивановича Мозгового – начальника из бывших лагерников. Комментарий автора: исход евреев из Египта во главе с Моисеем. Колебания, сомнения, и ответ Моисея:

"Идем... чтобы затем, похоронив рабов, мы вышли отсюда свободными и навсегда забыли о рабстве. Если ты не готов идти дальше, останься и обра-

тись в тлен легко и бездумно" (там же, стр. 25).

Великолепная тирада. И здесь писатель Максимов перечеркивает то, что пишет другой Максимов, редактор консервативного журнала, сам крайний консерватор.

Идти, чтоб "похоронив рабов, мы вышли свободными и навсегда забыли о рабстве". Похоронив рабов, а вместе с ними холуйские проекты куцых конституций. Булыгинской, Виттевской, Бухаринско-Сталинской, Брежневской и Максимовской марки.

* * *

И Золотарев. Карьера монстра. Тоже крестьянский парень. Из той же Сычевки. Но пошел по другому пути. По широкому пути, в конце которого блеск, карьера советского сановника.

Максимов не сгущает красок. Обыкновенный советский парень. Нищее колхозное детство. Пьяница отец. Сиротство. Комсомол. Он хорошо себя зарекомендовал. И действительно, хороший парень: не пьяница, не хулиган. Смирный. Работящий. Командировка от комсомола. Куда? К одному товарищу, который хочет с ним поговорить. И вот он в новом месте. В бригаде, где бригадиром странный человек. Религиозный. Бескорыстный. Талантливый. И здесь мы сталкиваемся с тем, что в России рождалось. Но задушили. Не дали возрасти и расцвести. *С христианским социализмом.*

В своей книге "Лихие годы" я рассказывал о "чуриковщине", о народном религиозном движе-

нии, возникшем под Питером, в Вырице, под руководством ”братца” Ивана Чурикова.

”Чуриковская коммуна” – это была единственная подлинная коммуна в советское время.

”Трезвенники” – религиозные рабочие люди (было их несколько сот) организовали коммуну: все у них было общее, никто ничего не называл, как у апостолов, своим. И работа закипела. Еще до революции приобрели они трактор. И весть о коммуне проникла в Питер. И было там несколько братств – филиалов, чуриковцев. Так было. Пока в 1929 году не прихлопнула железная рука чекистов движение. И сам Чуриков (”братец Иванушка”) погиб в подвалах на Гороховой, где помещался тогда штаб ГПУ.

И еще были такие движения в народе. Вот мне вспоминается маленькая заметочка в ”Ленинградской правде”, которую прочел я в 1937 году. О том, как ”сектанты” объединились в артель ”ножевщиков”. И жили совместно и ходили по домам ножи точить. И вели при этом религиозную агитацию.

Заметка кончалась зловещей фразой: ”Все участники сектантской лжекоммуны расстреляны”. В России это движение было подавлено. Но ”Дух дышит, где хочет”.

Оно воскресло в других странах. И, между прочим, в далеком Израиле, в виде так называемых ”киббуцев”.

Максимов вряд ли читал мою книгу ”Лихие годы” (а больше о ”чуриковцах” узнать негде). Но тем более интересно. Верно, слышал о других подобных движениях. И такую коммуну он описыва-

ет. Во главе с Иваном Осиповичем. Это маленький Чуриков. Способный человек из народа. Добрый. Религиозный. Умеющий влиять на людей.

И вот к нему "комиссаром" приставлен Золотарев.

Предательство Золотарева и арест Ивана. Все так, как бывало. Шатание в общине. Смущение одних, трусость и бегство других, готовность стоять на смерть третьих. Разгром общины. А для Золотарева — это старт.

Первые деньги — иудины сребреники. И начало карьеры. Карьера Золотарева — рассказ о ней великолепен. "Все выше и выше и выше...", как пелось в одной псевдореволюционной песенке двадцатых годов, мотив которой был украден композитором из оперетки "Мотор любви".

Золотарев уже у самого верха. Разговор с Берия. Все очень правдиво. Ни одной фальшивой ноты. Золотарев получает ответственное задание. На Курильские острова. Большим начальником. На строительство. И перед этим — верх служебного счастья, партийной карьеры. Он у Сталина.

* * *

Выше я говорил о том, что, когда описание аудиенции у Сталина появилось в "Новом Русском Слове", меня поразили дикие анахронизмы и совершенная нелепость некоторых моментов. В книге многие эти моменты устранены (например, совершенно детский прием: Поскребышев перед Сталиным... на карачках. Не в переносном, а в самом буквальном смысле).

Особенно много чепухи нагорожено о Патриархе Алексии, которого якобы принимает Сталин в своем кабинете интимно, без свидетелей.

Разберем некоторые из этих нелепостей. Во-первых, Патриарх Алексий видел Сталина всего два раза в жизни.

Первый раз, когда он, будучи митрополитом Ленинградским, сопровождал митрополита Сергия (4 сентября 1943 года), второй раз сразу после войны (в июле 1945 года), когда он был принят Сталиным во главе церковной делегации (в делегацию входили, кроме Патриарха, митрополит Николай и протопресвитер Колчицкий).

Правда, он имел телефонный лимит для разговора со Сталиным (40-минутный разговор в неделю). Однако за все время он воспользовался этой привилегией только один раз, когда был арестован близкий к нему человек Д.А. Остапов.

Совершенно непонятно, почему Максимов называет Патриарха Алексия поляком. Видимо, сыграло здесь роль окончание фамилии Патриарха: в миру он Сергей Владимирович Симанский. С таким же правом Максимов мог бы приписать польское происхождение князьям Волконским, Долгоруким, а также Достоевскому, Писемскому и Полонскому или государю Василию Шуйскому. На самом деле, Патриарх Алексий принадлежал к дворянскому роду Симанских, который обозначен в "Бархатной книге московского дворянства".

Происхождение фамилии следующее: у одного из великих князей Московских (кажется, у Ивана III) был двоюродный брат Симон. Отсюда его по-

томство носило фамилию Симонские. В XVIII веке, при Екатерине, один из Симонских, прославленный адмирал и человек, близкий ко двору, переделал свою фамилию на французский манер – переменил ударение: из Симонского стал Симанским.

Родился Сергей Владимирович Симанский в Москве, а не в Петербурге, как указывает Максимов, 26 октября 1877 года. Его дед был сенатором, а отец в то время камер-юнкером Двора Его Величества. Отец был одним из руководителей Московского Воспитательного Института, в помещении которого, в казенной квартире своего папаши, родился Патриарх. Мать же его – из псковских дворян, приходилась двоюродной племянницей А.С. Пушкину.

В лагерях Патриарх Алексий никогда не был, а лишь в период 1923-1926 годов был в ссылке в Семипалатинске.

До своего избрания на патриарший престол он проживал не в Москве, а в Ленинграде. И был не "личностью неопределенных занятий", как пишет Максимов, а митрополитом Ленинградским (с октября 1933 года до 3 февраля 1945 года), а до этого он был архиепископом Новгородским.

Патриарх носит не "патриаршую шапочку", как значится в "Новом Русском Слове", и не белый клобук, как писано в книге Максимова, а белый куколь – особый головной убор, украшенный изображениями херувимов и увенченный алмазным крестом, напоминающий корону.

К Сталину же во время двух приемов архиереи приходили, как обыкновенные священники, в

рясах с панагиями* (а не с крестами, как пишет Максимов) на груди и без всяких головных уборов. Манеру держаться покойного Владыки Алексия и его личность Максимов совершенно не уловил. Конечно, он не обязан все это знать, но не надо и писать о том, чего не знаешь. А еще (туда же!) других обвиняет в небрежности.

В остальном личность Сталина и обстановка вокруг него отражены, вероятно, правильно. Даже слезы на глазах у Сталина после кинофильма с Чарли Чаплиным правдоподобны. Сентиментальный палач – это довольно распространенное явление. Близко к истине также посещение Сталиным и Берия Кавтарадзе. Об этом посещении я слышал несколько раз от очень осведомленных людей. Преувеличена лишь бедность Кавтарадзе. Он, конечно, не мог жить в коммунальной квартире. До ареста он был крупным работником и после освобождения с полной реабилитацией по личному приказу Сталина въехал в свою квартиру.

Кстати, интересная деталь. После посещения его Сталиным соседи Кавтарадзе решили, что в гостях у Кавтарадзе был... Геловани, известный исполнитель роли Сталина в кинофильме.

В остальном образ Сталина – удача Максимова. Он нарисовал, видимо, образ, близкий к исторической личности.

* * *

---

* Панагия – всесвятая (греч.) – икона Божией Матери – символ архиерейского служения.

А затем путь двух земляков на Курилы: сановника и работяги. Здесь все великолепно. Как любят говорить в таких случаях режиссеры: "Все на уровне". И выше, чем на уровне.

Путь Федора. По дороге. Самосуд над ворами (вот она, извечная, старая Русь). И смерть бабки. И вводная новелла – связь с Пелагеей, врачом.

Родители Федора. Отец – самодур, но бесконечно любящий единственного сына. И образ Мозгового. Старого, бывалого человека. Бывшего лагерника. Вырвавшегося из пут. Командира, придурка, но сохранившего человеческое сердце.

И лагерь. Вставная новелла о генерале Краснове, о его конце, как об этом рассказывает его племянник в своих очень правдивых воспоминаниях.

Здесь, не как в "Карантине". Эта новелла на месте и вливается естественно и просто в течение романа.

Роман с Пелагеей, женщиной, отравленной тем, что в лагере и около лагеря. Которая ждет тепла и ласки. И льнет к молодым парням. Сколько я видел таких в лагерях.

Хорош и другой женский образ – Киры Сапгировой, актрисы, у которой для карьеры препятствие – еврейское происхождение.

И конец – наводнение и землетрясение на Курилах. Гибель Золотарева. Федя и Люба у берегов Японии. Писатель на высоте. Жаль всех. И даже Золотарева. Он тоже жертва. Жертва противоестественного режима.

Конец символичен. И символ прост и естественен.

Заглавие "Ковчег для незваных". Правильнее было бы "Незваные в ковчеге".

Не званные, но избранные, неведомыми путями идущие к преображению.

"О, недостойная избрания, Ты избрана", – как говорил Тютчев про Россию.

Подзаголовок: "Из нечеловеческой комедии".

Нет, все-таки человеческая комедия. Слишком человеческая.

ПРОЩАНИЕ

Мы прошли с писателем весь его трудный, извилистый путь. От первых его рассказов о шпане до его заграничных творений. От того, что задумывалось под "крышей палатки, над которой шарят дожди", до последних его произведений, которые писались "под крышами Парижа". Веселого и смутного Парижа.

Париж – город шумный и колготной. "В его приедешь – угоришь".

"Вы что, угорели?" – раз слышал я реплику в Питере в Страстную Пятницу у Плащаницы. Реплику произнес пожилой причетник в стихаре экзальтированной бабке, которая поцеловала Лик умершего Спасителя в губы (вопреки уставу, который предписывает целовать лишь ноги и руки Распятого и Погребенного).

Немного угорелый Максимов. Пора нам с ним прощаться. И он прощается с нами. Перед нами "Прощание из ниоткуда". Четвертый том его собрания сочинений (Посев, 1974 г.).

Открываем книгу. И сразу чудесное, лирическое вступление. Об Израиле. И о Христе. О Христе мало. Две строчки. Но какие две строчки!

"Израиль! Израиль! Желтая, выпитая солнцем земля, которая еще хранит легкие прикосновения Его продолговатых ступней, и смутная цепь изъеденных жгучими ветрами гор, каждая из которых могла оказаться Его Голгофой" (В. Максимов, Собрание сочинений, т. IV, "Прощание из ниоткуда", Посев, 1974, стр. 5).

"Вы что, угорели?" – скажут здесь представители официальной церкви, которые привыкли, чтобы о Христе говорили в выспренных выражениях.

А дальше наш старый знакомый Влад. "Влад лежал на полуразобранном диване".

В путь. Опять путь. Да куда? В Израиль. Изумительное обращение к сестре Екатерине Алексеевне. И ее муж. И опять чудесные строки. Не можем их здесь не привести.

"Как мало, как плохо я знал тебя, Юра, сына польских изгнанников и внука американского еврея, еще главенствующего над кланом, растекшимся по пяти континентам. Из всех неисповедимых путей Господа наверное самый неисповедимый привел тебя в полувымершую семью московских мастеровых, из бывших крестьян, к девочке, почти подростку, с которой ты зачал родословную новой фамилии, гремучего симбиоза славянских и библейских кровей" (там же, стр. 6-7).

Эти строки близки мне, тоже отпрыску славянских и библейских кровей. Да еще каких причудливых кровей: древних левитов и хасидов, пра-

вославных священников и древних русских бояр.

"Говорят, люди смешанных кровей талантливее. Но на Вас это не видно", – говорила мне, шутя-женщина-еврейка, моя первая любовь. Но так или иначе, я – гибрид.

Неприятная "профессия". Ни в тех, ни в этих. Как и Леша, Алексей, Алексей Юрьевич – племянник Максимова, обращением к которому начинается книга.

Не завидую тебе, Алеша.

Эти максимовские строки – старт. Чудесный старт, достойный русского писателя-гуманиста. Почти по Короленко.

А дальше лирическое повествование о детстве. Мы встречаем здесь старых знакомых, обитателей московского дома, которых мы знаем по "Семи дням творения".

Но здесь они даны сквозь призму лирических воспоминаний.

Когда-нибудь, когда книги Максимова возвратятся на родину и там станут предметом кандидатских и докторских диссертаций, десятки аспирантов разберут по строкам эти главы и покажут, как грубая, пошловатая действительность преображается в мягкую, теплую лирику.

Но мы уже давно вышли из того возраста, когда пишутся диссертации, поэтому спокойно оставляем стилистический анализ будущим диссертантам.

Первое стихотворение Владика:

"Враг, нам вредить не сметь!
Получишь за это смерть!"

И отзыв соседки, старой дворянки:

"Стихи явно произвели на нее впечатление. – Прости меня, мой милый, но это по-моему дерьмо, – сказала она, скорбно вздохнув. – Когда только ты успел нахвататься этой тарабарщины.

Ее глаза цвета пыли смотрели куда-то поверх его головы. – Господи, они ухитрились задурить головы даже детям!

– Что, у меня хуже, чем в газете? – авторская уязвленность уже давала себя знать.

– Точь-в-точь как там.

– Вот именно, мой милый, вот именно, – брезгливо отстранила она его. – Тем хуже для тебя.

Старуха канула в сумрак флигельных сеней, оставив Влада наедине с его недоумением и обидой (там же, стр. 15-16).

Далее то, о чем писалось в стихах и в газетных статьях, принимает конкретные очертания. Арест Иткина, интеллигента-еврея с наружностью Маркса. Разговор с директором школы, который ставит ему в пример Павлика Морозова. Надо сказать, что педагогам в эмигрантской литературе особенно не повезло. И в воспоминаниях Буковского и вот теперь у Максимова. Конечно, такие директора могли быть. Но это не типично. Как правило, никто из нас (а ведь педагогами были и Солженицын, и Синявский, и Ваш покорнейший слуга) никому Павлика Морозова в пример не ставили. И отношение к сему Павлику было всегда и у всех очень ироническое.

Под влиянием директора попытка предательства: едва не стал доносчиком на товарища.

Потом дед Савелий. Всякий, кто читал "Семь дней творения", узнает в нем старика Лашкова. Но он добрее Лашкова, жалостливее, мягче.

И смерть. Смерть сестры. И первое, услышанное о смерти: "Наша смерть – это лишь прощание с очередной остановкой, не более того. Так сказать, прощание из ниоткуда".

Увы! Пока еще это прощание отсюда. И об этом говорится уже на следующей странице.

"Я – Михеев, Михеев (фамилия деда и матери писателя) – гнусное повторение своего клана, его язв и пороков, едва тронутое Божьим вниманием, но единственное, в чем мне не боязно тебе поклясться: я хочу быть лучше, и я стану лучше, чего бы это ни стоило для меня" (там же, стр. 61).

Дай-то Бог.

И отец. Вернувшийся из лагеря. Отъезд с отцом в деревню. Ссора папаши с дедом (точь-в-точь, как в "Семи днях творения"). И война. Отца берут в солдаты. Возвращение в материнский, московский постылый дом.

Бегство из дома. Жизнь паршивая. Жизнь поганая. Шатание по помойкам. Лагерники. Контрабандисты. Шваль.

Но и в помойках другой раз растут лилии. Выше я приводил афоризм тонкой женщины – о лилиях в помойке. Это она о Есенине.

А ведь она права. И образ взят из жизни.

Помню я эти помойки в Питере в начале двадцатых годов. На заднем, черном дворе. Выгребная яма. И выгребалась, верно, раз в 2-3 месяца. И летом. Жара. Мухи. Вонь нестерпимая. И действитель-

но цветут цветочки на помойке, на хорошо удобренной почве.

И под Москвой. В Ново-Кузьминках. Совсем недавно. Был у меня в саду куст сливы, заброшенный и почти засохший. И рядом выкопал я яму. Для помойки. И неожиданно расцвела моя слива. А потом, впервые за пять лет, стала давать плоды. Никогда и нигде не видел и не ел я таких слив.

И среди людей так. Выросли в помойке лилии. Дружба Влада с блатным Серегой. Настоящая мужская дружба. Что там, Дюма, твои мушкетеры!

Всюду и везде вместе. Последним куском хлеба делились. Началось со случайной встречи. И кончилось случайно, когда схватили их менты и развели по арестантским вагонам, по разным лагерям. И тюрьмы, лагеря.

''Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя в казенный дом,
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, несчастного, по новой ждет''.

Суд. Окончание главы почти по Лермонтову: ''Когда-нибудь он поймет, что суд этот – маленькая комедия с печальным концом, которую люди разыгрывают, чтобы почувствовать себя справедливыми, – не имеет ничего общего ни с милостью, ни с наказанием. Грянет час, и каждый, в том числе и он, узнает, если это дано будет узнать, что есть другой суд, и у того суда нет обвинителей и защитников. Человек начинает судить себя сам по закону, дарованному ему от рождения, Закону Совести.

Дай же ему, Господи, вынести тот Суд!'' (там же, стр. 177).

И различные приключения.

И грязь, и разврат, и человеческая плесень. И тление человеческой души. А потом отчаяние. Мрак.

”Прости его, Господи, но как хотелось ему тогда умереть!”

”Самое глухое из столетий,

Вечер догорающего дня.

Ах, как жить мне не хотелось.

Вы уж извините мне, друзья”.

Это – Беранже, в середине XIX века. Это его-то столетие глухое? А что остается сказать нам с Максимовым? Мысль о смерти, о самоубийстве неотступно преследует людей нашего поколения: тут и Есенин и Маяковский.

И даже ловкач Эренбург однажды проговорился, проездом из Парижа в Москву: ”А если под колеса: может быть, это тоже выход”.

”Это не выход. Другим не советую”, – перекликается с ним Маяковский.

А почему, собственно говоря, не выход?

Горький замечает: ”Я не против самоубийства. Самоубийство – самосуд личности”.

И только с одной точки зрения можно отойти от самоубийства.

”В душу Влада струились мир и тепло, и чей-то голос из ниоткуда спрашивал его, а он мысленно со смирением отвечал.

– Кто ты?

– Никто.

– Чего ты хочешь?

– Ничего.

– Ты хочешь умереть?

– Не знаю.

– И не хочешь узнать?

– Нет.

– Но может быть, в этом есть смысл?

– Нет, нет, нет. Я ничего не хочу.

Его подобрали припозднившиеся гуляки из его же барака, питейные кореши. Может быть, в этой случайности и впрямь был какой-то не сознанный им в ту пору смысл.

Но даже теперь, когда минуло столько лет, и Влад смеет думать, что-то понял, до чего-то дошел, – он по-прежнему во сне и наяву все еще продолжает внутри себя тот самый разговор. Только теперь он твердо знает, с Кем'' (там же, стр. 250).

Однажды Льву Николаевичу Толстому рассказали, когда он был в Крыму, что человек, больной туберкулезом, безнадежно больной, когда все ушли из дома, окончил жизнь самоубийством. По мнению врачей, ему оставалось жить не больше недели. Кто-то сказал, что вряд ли такое самоубийство можно считать безнравственным.

Лев Николаевич ответил: ''Кто знает, может, Богу из всей его жизни нужна была только эта неделя''.

Это сказал себе и Максимов. И остался жить.

И дальше, жизнь человека. Из народа. Тут и извещение о гибели отца. И ''психушки''. И ''выдвиженчество''. Он пробивает себе дорогу. Цепкий мужик. Юг. Краснодар. Журнализм. Советская провинция. Горкомы, райкомы, редакторы. Смерть Сталина.

И пьянки, пьянки, пьянки. Начало карьеры.

Потом крах. Два неудачных романа. Не написанных. В жизни. Неудачная женитьба. Путь в Москву. И дорога в эмиграцию.

Что скажу в заключение?

Недавно, в конце мая 1982 года, был в Париже. Уезжал с Лионского вокзала в 7 часов утра. На перроне встретил мрачного человека. Смотрит исподлобья. Точно норовит ножом пырнуть. Я в вагоне. Смотрю из окна. У человека вид усталый, задумчивый.

Это Максимов.

Перебросились с ним несколькими фразами.

Я возвращаюсь к себе, в Швейцарию. Он ехал в Италию. Получать премию.

О чем ты думал, Максимов, когда так печально ходил по перрону?

Быть может, опять о своей жизни?

О жизни типичного человека из народа, советского человека, который прошел через многое: и через мусор, и через грязь, но у которого и белые лилии и светлые порывы.

Порывы туда.

"Per aspera ad astra". От терний к звездам.

ОТ ТЕРНИЙ К ЗВЕЗДАМ

От терний к звездам идет русский человек. Русский человек, все переживший, все испытавший, ничего не забывший. И чего он хочет теперь?

Воли! Воли! Воли! Бескрайной, как широкие степи. Могучей, как сибирские реки. Бурной, как водопады.

Земли и Воли! Народной воли!

И что он ответит тем, кто предлагает ему вместо воли куцые конституции, переходные ступени, авторитарный строй вместо тоталитарного. (Тех же щей да пожиже влей!)

То же, что ответила Владу старая дворянка: "Прости меня, мой милый, но, по-моему, это дерьмо".

А что скажут о его творчестве? О его рассказах и повестях, в которых больше, чем где бы то ни было и у кого бы то ни было, раскрывается душа современного, простого русского человека?

Скажут: "Спасибо! Хорошо написал, мужик!"

И о нем: "На окраине где-то города... Когда-то баба родила скандального и вдохновенного, и пьяного, и почти гениального российского пиита".

Люцерн
март-июнь, 1982 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОД ЗНАКОМ СОЛЖЕНИЦЫНА

В.Е. МАКСИМОВ

КНИГИ А.Э. КРАСНОВА-ЛЕВИТИНА

"Защита веры в СССР". С предисловием архиепископа Иоанна Сан-Францисского. Париж, 1966 г. Распродано.

"Диалог с церковной Россией". Париж, 1967 г. Распродано.

"Строматы" (сборник статей). Франкфурт-на-Майне, 1972 г. Распродано.

"Лихие годы". Париж, 1977 г.

"Рук твоих жар". Тель-Авив, 1978 г.

"В поисках Нового Града". Тель-Авив, 1980 г.

"Родной простор" (демократическое движение). Франкфурт, 1981 г.

А.Э. Левитин, В.М. Шавров. ”Очерки по истории церковной смуты”. 20, 30, 40-е годы. В трех томах с приложениями. 1053 стр. 1978 г.

”У ворот”. Сборник статей. Париж, 1982 г.

НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Böse Jahre. Rex-Verlag. Luzern-München, 1977.

”Die Glüt Deiner Hände”. Rex-Verlag. Luzern, 1979.

